Ефим Ярошевский

Провинциальный роман(с)
Лето и ливни

Ефим Ярошевский Провинциальный роман(с)

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

АЛЕТЕЙЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН(С) ЛЕТО И ЛИВНИ

Книга прозы

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2006

УДК 821.161.1–3
ББК 82(2Рос=Рус)6–4
Я77

Автор искренне благодарит Евгения Калинского (США) и художника Люсика Межберга (Италия), без участия которых эта книга не могла бы быть издана...
В оформлении книги использованы рисунки автора, а также работы Л.Межберга.

Ярошевский Е.

Я77 Провинциальный роман(с). — СПб.: Алетейя, 2006. 239 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 5–89329–865–9

В однотомнике представлена проза Ефима Ярошевского. Пишет он давно, но первые публикации появились только в девяностые годы. Стихи и проза Ярошевского печатались в журналах «Арион», «Крещатик», «22», его книги выходили в Одессе и Нью-Йорке.

В творчестве Ефима Ярошевского сочетаются лиризм и импрессионизм южнорусской школы и элементы авангардистского эксперимента. Приметы его прозы — индивидуальный, мгновенно узнаваемый стиль, грустная ирония, точные детали, неожиданные ассоциации.

УДК 821.161.1–3
ББК 82(2Рос=Рус)6–4

© Е.Ярошевский, 2006
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2006

«ИТАК, Я ЖИЛ ТОГДА...»

Часто сетуют, что нет достойного романа о поколении, чья жизнь уместилась между оттепелью пятидесятых и неприкаянной свободой девяностых, дозволенной государством с равнодушием охладевшего любовника. Ответить можно словами классика, что «мы ленивы и нелюбопытны». Такие романы появлялись и в советскую эпоху (вспомним хотя бы Трифонова), появляются и сейчас.

Начнем с цитат.

«Весна начиналась в уборной. Все лилось, плескалось, пело. В трубопроводе булькали звезды. Унитазы смеялись, захлебываясь чистой детской мочой».

«Я оборачивался, в спину меня в упор расстреливал черный, насыщенный влагой двор и темный подъезд. На крышах бесшумно лопался туман, кошачий хвост торчал из трубы, слабо помешивая мутное небо Привоза».

«Прели огороды. Пчелы сосали загноившиеся недра цветов, дурели от сладости, обморочно висели на стеблях...»

Нервная чуткая проза, как круп коня, терзаемого оводами. Истоки ее можно искать в избыточной живописности южнорусской школы первой половины века — от Бабеля до Олеши, но восходит она непосредственно к их общему прародителю — Гоголю. Эта близость чувствуется и в пластичности описаний, и в драматургии сценок, и даже в стремлении передать мимику персонажей с помощью часто встречающейся в диалогах реплики «?!», когда нет или не нужно слов. Роман Ярошевского — это мастерский портрет речи одесских «чудиков», мягко и пластично вписанный в окрестный пейзаж. Говорят много и достаточно безумно. Но всегда интересно. За этим бдительно следит автор.

Вот образцы разговоров и монологов, из которых, собственно, и состоит роман:

— Как ты думаешь, она сволочь?

— Сволочь, конечно, сволочь, — твердо ответил Фима.

— Пойду позвоню.

— Все подонки! Все. И я подонок. Но я тем и отличаюсь от вас, что понимаю это и признаюсь. Признаюсь — и потому я лучше.

— Можно? — гость выждал паузу и добавил: — Я по делу.

— Входи, входи, — медленно, жуя усы, говорил художник. — Тебе всегда можно. И по делу... И без дела... Пол вот собрался мыть. Входи. Кухню белил. Входи.

— Видишь ли, Витя, какое дело...

Витя курил, он был весь внимание.

— Дело следующее: дай закурить.

— Кури, кури, пожалуйста... Так какое дело?

— Собственно, все, — гость сделал артистическую паузу и затянулся.

— Все?

— Все. Благодарю. Спешу. Привет.

И гость убегал.

Несмотря на название, автор никогда не опускается до уровня предвкушаемой пошляком «одесскости», то есть смеси провинциальной ущербности и навязчивого юмора. Правда, его герои постоянно колеблются от ощущения эйфории до настоящего удушья. И над всеми их состояниями, столь живо воссозданными в речи, колышется атмосфера общей обреченности. Именно это ставит «Провинциальный роман» в ряд основной линии русской литературы: человеческая ущербность и недовоплощенность, невозможность их преодоления для скептического ума «цивилизованного» человека, его гордыня, мучение и безумие в связи с этим были сутью самых живых образов этого ряда, начиная с Онегина.

У поколения, о котором пишет Ярошевский, была счастливая уверенность, что препятствие для самоосуществления исключительно внешнее; кажущаяся мощь и незыблемость государственного устройства, его готовность без устали истреблять любую непохожесть на несуществующий образец укрепляли эту уверенность. Счастливой она была потому, что позволяла человеку внутренне оправданно разлагаться, не забывая об эстетике этого действа. Этой эстетикой самоуничижения и гордыни проникнута проза Ярошевского, не зря в названии прочитывается словечко «романс» — жанр щемящий, сентиментальный и ностальгический. Он любит своих героев, любуется ими, говорит и думает, как они: «Хочется расчесать эту повесть до крови. Как экзему... Избавиться от нее наконец».

Этой раздвоенностью, уверенностью в зудящей важности своих откровений и совершенной их ненужности была наполнена жизнь героев этого времени. Горькое и неверное ощущение, что жизнь вхолостую — удел не общечеловеческий, а исключительно провинциальный, приводило к такому нарастанию давления в душах, что спасительным клапаном становились эгоцентричные полубезумные исповеди.

И Ярошевский удивительно точно передал атмосферу этих горячечных разговоров. А единство стиля, безошибочность перетекания авторской речи, монологов, описания пейзажа, пауз создает ощущение «поэмы в прозе».

Один из друзей автора, читавший роман в пору его создания, во времена, по выражению Ахматовой, «не столь вегетарианские», определил его жанр как «коллективный донос». Со временем «коллективный донос» превратился в свидетельство о жизни поколения. Для этого нужно было «всего лишь» превратить людей, разговоры, свою жизнь, наконец, в хорошую прозу.

Валерий Черешня
Санкт-Петербург

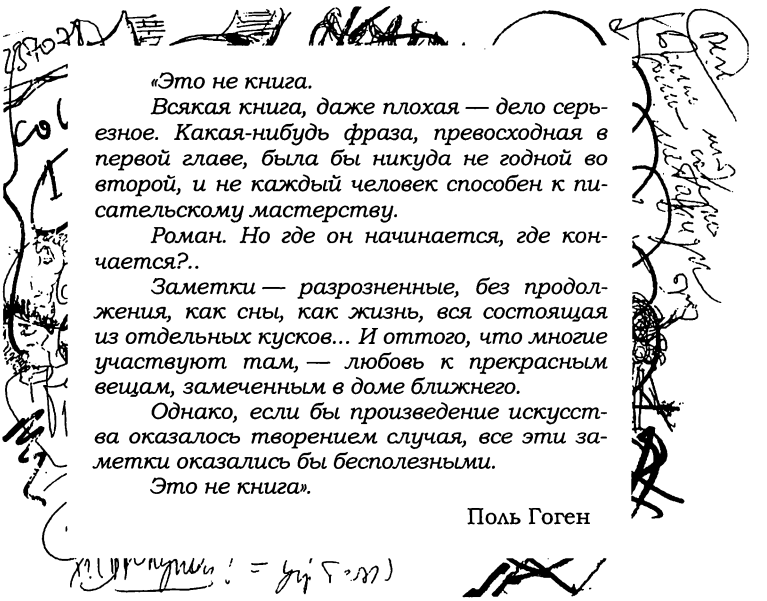
ОТ АВТОРА

Этот текст возник из необязательных записей, где моделировались голоса и интонации моих друзей и знакомых. Получилась книга, где неспешно текут настроения и пейзажи, где много говорения и мало поступков. Так мы жили...

Эта книга родилась из размытого дождями, выцветающего на ветру золотого известняка, разваливающегося на глазах города, из уходящей куда-то Молдаванки, уехавших зачем-то друзей. Из чада сковородок, на которых уже давно не жарят знаменитую скумбрию. Из ядовитой пены у скал погибающего моря, которое в Дофиновке все еще прекрасно. Из весенних звезд, которые восходят над нашими теплыми, пыльными, бессмертными и нищими дворами.

Автору казалось, что этот текст он уже пережил, преодолел. Но странным образом эта книжка держит его до сих пор, не отпускает. Автор понимает, что прощание с молодостью несколько затянулось. Но сделать уже ничего не может. Впрочем, и не хочет...

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН(С)



«Это не книга.

Всякая книга, даже плохая — дело серьезное. Какая-нибудь фраза, превосходная в первой главе, была бы никуда не годной во второй, и не каждый человек способен к писательскому мастерству.

Роман. Но где он начинается, где кончается?..

Заметки — разрозненные, без продолжения, как сны, как жизнь, вся состоящая из отдельных кусков... И оттого, что многие участвуют там, — любовь к прекрасным вещам, замеченным в доме ближнего.

Однако, если бы произведение искусства оказалось творением случая, все эти заметки оказались бы бесполезными.

Это не книга».

Поль Гоген

Глава 1.
Шурик, Ребе, Степаныч и я

Странный, лошадиный сон приснился Шурику... Путаясь в голубых прожилках и жилах, скользили, спотыкались и падали кони. Тихо было вокруг и в поле, глаза коней темнели и наливались мглой и недоумением. Потом одинокое ржание пронеслось в вышине, такое за душу хватающее, что Шурик в тоске и слезах проснулся...

В дверь постучали. На пороге стоял высокий худой Конь. С невозмутимостью старого дуэлянта Шурик впустил его, ничуть не удивившись. Конь столпился в передней и снял шляпу. Поздоровался.

— У тебя хорошо... Дюрер. Гипс. Фолианты... Но есть еще Ночь...

Он разбил стекло и вынес Шурика в звезды. Мама не заметила этой выходки гостя. Они полетели. Конь показывал Шурику город. Над благоухающими крышами весеннего города, над липовыми очертаниями Молдаванки, как невеста Шагала, летели они.

Сидеть было жестко, спина Коня была костлявой. Но Шурик сидел невозмутимо, чуть улыбаясь, не подавая вида, как ему неудобно. Он сидел спиной к морде коня, лицом к хвосту, боком к мирозданию. Так он больше видел. Они набирали высоту.

— Спасибо, Фима, — сказал Шурик, — было интересно.

Конь устал, исходил паром.

— В самом деле? — спросил он, не веря.

— Да. Мне понравилось.

Коню было приятно. Шурик был немногословен, но лицемерить не мог. На самом деле, было хоть и интересно, но невыносимо болели спина и зад. Путешествие на любителя. «Надо будет посоветовать Грише», — подумал Шурик и пошел спать.

Потом пошел дождь. Он шел с моря, с 16-й станции, — обогнул берег, пропустил 13-ю и 11-ю, бурно пролился нал 7-й и, запыхавшись, добежал до центра. Там удобно расположились тучи. Они заждались, и когда час пришел, обрушили на Соборную площадь несколько ведер фиалковой свежей воды.

Город посвежел, выпрямился, раскрылся, как тюльпан. Трогать его было опасно.

Они пролетали розовые светящиеся бани. На Садовой, в старых мраморных парадных, беззубо улыбались белые мраморные старушки. В домике напротив висели в великолепных крокодиловых футлярах старые барометры, показывающие ЯСНО. Девочка мыла собаку. В клетках бились попугаи — они тоже были старики и старухи.

Искалеченным ртом смеялся в парке гипсовый вратарь.

— Ты не заметил? Он без носа!

— Вратарь — сифилитик, — сказал Шурик.

— Вратарь без зубов, — сказал я.

— Тогда это Кроватыч.

Что он к нему имеет? Шурик умел замечать безобразное. Но любил ли он прекрасное? Да, он любил Гришу.

Шел пьяный Ребе и бережно вел Шурика. Тайный яд жизни открылся им. Из-за угла вышел Сева. Он подошел. Сверкнули стекла очков. Неподкупно посмотрел он на Шурика.

— Это мой гид, — блаженно произнес Шурик, обнимая Ребе.

— Да, я его гид, — радостно подтвердил Ребе. — Мы — гиды.

— Не гиды, а гады, — отрезал Сева. — А ведь идут годы.

И он увел с собой Гришу.

Конь слег. Ночная прогулка обернулась гриппом. Грипп обернулся гайморитом. В гайморовой полости Коня гнойно выделялся кто-то.

Никто не посещал его. Конь похудел, осунулся. Небритый, с шарфом на высокой шее, он писал стихи и горестно смотрел в окно. Там была весна, кувыркались птицы, жил ветер. Потом стало холодно.

— Здравствуй, Гриша. Я принес пальто.

— Какое пальто?

— Мое. Любимое. Со следами пуговиц былой красоты.

— Но зачем мне твое пальто?

— Бери, бери, я от него отказываюсь.

— Странный ты человек... Я не знаю, что делать мне с твоим пальто. Не знаю, что делать.

— Сохрани его, — сказал Фима и оставил Гришу наедине с вещью.

Григорий чрезвычайно раздражал Хаима. Некая безысходность была в этом. С этим приходилось считаться.

— Простите, вы не доктор?

— Наук? — отпарировал Гриша.

— Нет, не наук, — ответил Хаим, нажимая на *не*.

— Не наук — нет. И помилуйте, зачем это вы?

— В таком случае, ты не доктор? — сказал Хаим, делая над собой громадное усилие.

— Нет, — устало сказал Гриша. — Я не доктор... наук, — все-таки добавил он.

Мимо прошли пионеры. Они несли с собой цветы. Зачем они это делали? Было лето, была полночь, полная звезд и кошачьего кала. На Гимназической разнузданно пахли акации.

— Если говорить, так сказать, социально, то мы давно уже гнием... — Хаим скорбно смотрел во тьму.

— Да-а. А в Бразилии сейчас уже лето... Не верите? — это сказал некий Володя, попросивший закурить. — Интересно, сколько сейчас жителей в Бразилии?

Вопрос был провокационный, и Хаим понял это.

— Вся загвоздка в том, что сейчас во многих странах лето. Особенно в Сербии. По-моему, это неспроста. Вы не находите? — кто-то очень над всеми издевался.

— Н-ну, пожалуй... пора? — спросил и одновременно предложил Григорий. Он заскучал.

— Д-да! Пожалуй. И все-таки вы очень похожи на доктора. На терапевта, — Хаим не унимался.

Гриша устал от всего этого. Он небрежно опустил старую, разбухшую от старых школьных бумаг папку в урну. И скрылся в парадной.

— И все-таки, — бросил ему вслед Хаим, — эти молодые поэты — молодцы!..

— Огурцы? — рассеянно откричался Гриша и безвольно остановился на ступеньке. — Приходите, я покажу вам Модильяни.

Они помирились.

— Ну, как поживает Степаныч?
— По-моему, ничего. Как всегда, по-моему...
— Кто-кто? Диваныч?
— Кроватыч, скорее. А?
— Как ты сказал? Гурманыч?
— Скорее уже Хоттабыч.
— Хотябыч?
Нас понесло:
— Румяныч?
— Сатирыч?
— Задирыч?
— Занудич?
— Загулыч?
— Засулич?
— Брось, чепуха какая-то.
— Сиропыч? Посапыч?
— Может быть, Растопыч?
— Нет, — Растяпыч.
— Сутаныч. Субстаныч. Загулыч.
— Это уже было.
— Сурепыч. Спиритыч. Пиратыч. Испаныч.
— Багряныч?
— Фиолетыч?
— Наконец, Ростаныч.
— Или Тираныч?
— Избяныч.
Нас несло все дальше:
— Пахомыч?
— Ну, хватит, пожалуй.
— Усталыч.

— И, наконец, Усопыч. Все.

— А может быть, Гуревич? В конце концов, почему бы и нет?

Потом я, наконец, понял: он был Степаныч. Вот кто он был.

А потом пришла весна. Тополиный пух витал над городом. Солнце выпекало булки в витринах. Девочки не совсем понимали, что с ними происходит. Холодные розы медленно просыпались в садах.

Тонкий месяц плакал высоко над землей. В весеннем небе бесшумно лопались планеты, и на землю летела неземная древняя речь. Звезды маленькими ртами пили небо.

— Понимаешь, Ефим, скука. Везде скука, скука. Тоска. Все неинтересно. Странно, нигде не продают оружия. Давно пора застрелиться. А мы все медлим, медлим... А зачем писать, когда не платят денег? Нужны деньги, деньги. А их нету, нету... И все неинтересно. Вот если бы взорвать земной шар или уехать во Флориду, тогда, может быть. А так — скучно.

Юра доедал третью сигарету и диковато усмехался.

Ребе ушел. За ним пошел вечер. Он наступал ему на пятки. Ребе пошел быстрее. Вечер тоже наддал. Так они бежали, пока Гриша не скрылся в великолепной мраморной парадной, где много лет под церковным куполом жила в паутине прекрасная Эхо.

Весна началась в уборной. Все лилось, плескалось, пело. В трубопроводе булькали звезды. Унитазы смеялись, захлебываясь чистой детской мочой.

— Как ты думаешь, она сволочь?

— Сволочь, конечно, сволочь, — твердо ответил Фима.

— Пойду позвоню.

И Гриша ушел.

Весна шалила, обманывала, рассыпала мокрые зерна. Гриша клюнул. Он запрокинул голову, отдался солнцу. В нос ему попала адреналиновая капля весны. Капля повисла. Он бережно побежал. Донес ее домой, опустил на бумагу.

Имениннику было худо.

«Если бы я был курицей, меня бы любили, — подумал он. — Я прошелся бы по столу желтыми костяными лапками. Сначала меня бы ловили, цветную и теплую. Я шел бы по скользкой ледяной скатерти, была бы она вся в пятнах моей вины. Останавливался бы у каждой тарелочки, тараща в стороны безумные глазки в золотых ободочках, деликатно гадил бы каждому на тарелочку и шел бы дальше. А Грише я снес бы яйцо, большое и теплое. Яйцо бы рассмешило всех, смутило бы».

Но имениннику это было не дано.

Появились Шурик и Ребе с коньячным подношением. Шура долго сидел в берете. Потом спросил:

— Фима, можно?

— Что можно?

— Можно, я сниму шляпу? — спросил он со смирением, которое паче гордости.

— Да, да, — поспешно сказал я, переходя почему-то на вы, — снимите. И поскорее.

Это *вы* его не задело. Шурик не торопился.

— Гриша, не возражаешь?

— Нет, нет, что ты.

— Никто не против? — Шурик утонченно над собой издевался.

Всем было очень плохо.

— Тогда я сниму...

Пришел март, пуская весенние ветры. Поэт не мог больше сидеть дома и дышать. «Я, пожалуй, выйду», — сказал он себе, надел коричневое пальто и вышел в звезды. Звезды закипели, приветствуя поэта. Дул ветер с моря. Поэт поднимался все выше.

В звездах было ветрено, свежо.

— Ну, мне пора, — сказал Гриша, поднял воротник и полетел в сторону.

— Все подонки! *В с е*. И я подонок. Но я тем и отличаюсь от вас, что понимаю это и признаюсь. Признаюсь — и поэтому я лучше.

«Ох, Карлуша, Карлуша, большой ты поц, как я посмотрю!» — подумал Лунц, но сказал:

— Да, это все непросто... Тут надо подумать.

«Ну и судак же ты, Лунц!» — решил Диаблов, но ответил:

— В том-то и дело, что непросто... Ты заходи, потолкуем.

«А на фиг мне толковать?» — подумал Лунц и крепко, по-дружески пожал Диаблову руку.

«По-моему, он дерьмо», — сказал себе Диабетыч и смачно харкнул себе на брюки. Потом он долго пил кипяченую воду и трагически смотрел в окно.

«Убивать, убивать всех надо, — уговаривал себя он. — Каленой метлой... Всех, подчистую. Дышать невозможно. Очистить землю от скверны... Всех расстрелять, всех!» — и автомат из хорошего рассказа Сережи Мима мерещился ему.

Болело сердце. Дождь стучал в окна. «Лягу и буду лежать. До потопа».

Через час приободрился и впускал посетителей.

Кругом обижали, оскорбляли. Унижением все кончалось, куда ни сунься. Хотелось взобраться на дерево и пересидеть там обиду... Так однажды и сделал. Склочничали, торговались, укладываясь на ночь, птицы. Покой и чистый воздух были в листве. Заметил на ветке знакомое лицо... Кто это? Так и есть — Юра. Сидел без очков, лицо имел печальное, доброе...

— Это ты, Ефим? А я тут сижу. Как ты меня нашел? Знаешь, тут удобно. Я всегда сюда прилетаю — отдохнуть. А то внизу суета сует. И все такое...

— Юрочка, и ты тут? — обрадовался я.

— А что? Я уже давно сюда летаю. Когда мне грустно. Удивляюсь, что никто этого не делает. Вот разве что ты.

Птицы покричали, посплетничали и успокоились. Внизу искрились трамваи, проносился с зажженным фонарем продавец мороженого с тачкой под разно-

цветным тентом. Покрикивали машины... Внизу был город. Там были обидчики. А тут птицы, друзья.

Странные Юрины стихи вспомнились мне:

Бормочет вода при дороге,
звери вылезают из норок,
стучатся в двери ногами.
Ужин, как счастье, не нужен...
Как хочется прыгнуть к звездам,
улететь к голубому Сатурну.
Увлекайтесь, увлекайтесь ночами.
Просыпаясь, укройтесь плащами.
А телефоны звонят, звонят,
Ненужные, как мы сами...

— Встретил свою невесту. А она с ребенком. А мне смешно... Она всегда любила деньги. А вместо денег у нее ребенок. По-моему, это смешно... А она дура. Не понимает.

Медленно начинался закат.

— Я знаю, куда ты сейчас пойдешь... Ты пойдешь к Диабетычу, — говорил мне захмелевший Шура. — И дашь ему немного счастья... Иди, дай ему счастье. То, которого он заслуживает.

И Шура ушел домой. Я не пошел никуда.

Карлов — зритель.

Он ходит на людей, как на спектакли. Так ходил он когда-то к Шурику. Шурик, не подозревая, блистал, изощрялся. Доставлял собеседнику наслаждение неслыханное. Потом заподозрил что-то. Замкнулся. И невольно прогнал Карлова.

Карлуша не унывал. Он нашел других. Так, он долго посещал спектакль, роскошное трагикомическое ревю, именуемое Фимой. Но и тут случилось так, что зритель себя выдал. И Фима перестал фонтанировать. Он тоже заподозрил что-то и давал представление уже сознательно, хотя бесплатно. Это было не то. Зритель чувствовал подвох. Скучно стало... Начал он опускаться. Пошел на Геру, на Гаусса. Тут тоже было интересно, но уже иначе.

И сам потихоньку становился спектаклем. Нудным и тягучим. С большими, зияющими, как рот, антрактами, и усталым исполнением коронных номеров.

Дождь на улице, дождь... Бегал вокруг стола фавном голый Павлуша, гонялся за собственным хвостом, кусал его и долго жевал до кости, как ремень. Выплевывал ошметки и дико, кроваво озирался. Тихо было в комнате. Стучали ходики... Гробом казалась ему его квартира. И он выбегал, с треском надевая плащ... Улицы были покрыты язвами. Больной, порочный тротуар, в лужах из мочевины и похабных трещинах.

Боже! Куда идти? «Кому повем печаль свою?..»

И тогда над ним плакало небо, осыпались акации. Покорно мок под ливнем Привоз. Все в слезах проходили кони.

А по стеклу, а по стеклу
стекает дождь, стекает дождь.

Токман стоял у порога.

Глава 2.
Спиритыч, Юрочка

А вот и Ребе показался в пустынном дворе. А вот и Ребе. «Так и есть, он идет ко мне — жадно следил за его передвижением из-за шторки Павлуша. — Так и есть, он идет ко мне. Зачем он ко мне идет?» Поздно, поздно! Уже в дверь стучит лукавый, осторожный Ребе. Уже он на пороге, «весь в предвкушении курьезов».

Дверь открыли. Он входит. Он мил, пьян и добродушен. Весь в собственном соку. И брать его можно было голыми руками. Диаблов изловчился. Но взять Гришу голыми руками было трудно... А взять надо было. Иначе он возьмет тогда тебя. Так и есть — он уже берет:

— Ну, Степаныч, какие новации в вашей организации? — И, не дождавшись ответа: — Понимаешь, курьезный случай... Меня обгадили птицы. Так как, дашь мне свой платок? Или не дашь?

Хозяин поспешно дал. Гость стоял, беспомощно расставив ноги, как если бы он обмочился.

— Н-ну, так какие новации?.. — Ребе лица не терял.

Как ответить, если вопрос задан так не всерьез?

Это весеннее знамение — птичий кал, летящий на голову и костюм поэта. Об этом и зашла речь.

Посещения, посещения. Вся жизнь состояла из посещений.

— Можно? — гость выждал паузу и добавил: — Я по делу.

— Входи, входи, — медленно, жуя усы, говорил художник. — Тебе всегда можно. И по делу... И без дела... Пол, вот, собрался мыть. Входи. Кухню белил. Входи.

— Видишь ли, Витя, какое дело...

Витя курил, он был весь внимание.

— Дело следующее: дай закурить.

— Кури, кури, пожалуйста... Так какое дело?

— Собственно, все, — гость сделал артистическую паузу и затянулся.

— Все?

— Все. Благодарю. Спешу. Привет.

И гость убегал.

Был он красивым мужчиной, но красоту свою запускал, не выбривался, подавал себя крайне невыгодно. Волосьми зарос, защетинился, седыми клоками пообвис, на правую ножку припадая, вылезал, заспанными глазками мигая, поссать. А то и закурить попросить, с соседом покалякать, что жизнь, мол, дерьмо, да и то — жидкое... «Хотя...» И тут развивались колоссальные прожекты насчет того, что жить все-таки можно — надо только знать, как.

И разговор обрастал любопытными деталями.

Дождь, дождь... Бледными картофельными ростками прорастали дети в пустынном дворе. Дождик шумел в лопухах... Сладко дремала под шумок кошка.

Непогода загоняла сюда многих. Заходили к Диванычу, опускались в продавленный диван, отдыхали, находили забвение... Тихо было. Стучали часы. Беседа вязалась... Хозяин был смирен, предупредителен, чуток (случалось это не часто). И собеседник забывался, терял бдительность. Тогда начинал хозяин гостя заманивать. А если пытался гость сопротивляться, то взрывался, начинал грести ногами, помогая себе в диванный угол взобраться, садился на подголовник, с лицом Ивана, убивающего своего сына, — обличал, исходил слюной, поносил («или поно́сил?..» — спросил Гриша, читая рукопись). Пил воду. Изрыгал проклятия.

И, оставшись один, долго потом изучал свои похудевшие ноги... О госте забывал совершенно. «Помирать пора», — решал он и шел спать.

Иногда приходил Володя Рутковский. Высокий, изысканный, с длинной зябкой спиной. Бледные руки музыканта потирая, спрашивал, как быть. Смотрел кротко и трагически. Был мил, и отношение к себе внушал бережное, как к хорошей скрипке. Был он приятно болен, как говорил о нем П., и умел слушать:

— Да, Игорь... Да, Игорь... Ты думаешь, Игорь?.. Да, Игорь... Мне тоже кажется, Игорь... Значит, ты советуешь, Игорь?.. Хорошо, Игорь... Я попробую, Игорь...

— Д-да, Фима... Трудно, Фима... Я бы хотел познакомиться, Фима... Но это не просто, Фима...

Такой человек как-то примирял с жизнью.

Спиритыч работал. Он был уверен, что тайные силы вовремя придут на помощь. Холодными пальчиками касался он блюдца. Приглашенные девочки, совершенно убитые серьезностью момента, не дыша, уставились на каббалистический круг. Лампа-коптилка бросала тревожные тени, стены шатались, шевелились, некое брожение совершалось над столом.

— Мы ждем вас, господин Вагнер. Отвечайте. Отвечайте. Мы ждем. Ждем...

Полет валькирий предчувствовал спирит. Нибелунги должны были ворваться в комнату. Зигфрид уже махал своим мечом. Но Вагнер не появлялся. Было душно и тихо.

Потом повеяло прохладой, и в комнату вошел дух. Какая-то девочка упала в обморок... Блюдце двинулось.

— Я здесь, — прочли присутствовавшие.

— Он здесь, — сказал спирит.

— Задавайте вопросы! — глотая слюну, прошептала Маркелова.

Нервную девочку отпаивали водой. Стакан прыгал в ее губах, вода лилась на пол.

— По-моему, она обмочилась, — меланхолически произнес Володя, обращаясь к Спиритычу. (Как потом выяснилось, так оно и было.)

— Кто вы? — глупо спросил кто-то, стеклянными глазами глядя в пустоту.

— Я папский нунций... Ратификация договора вступает в силу... — блюдце несло какую-то чепуху.

В углу беззвучно хихикал Новиков, делая головой движения, словно он заглатывал бесконечную кость...

А ведь было время. Были времена... Когда распахивалась ночь. Когда ночь была, как писал поэт, «как пир-

шественный стол»... Мы шли с ним, пересекая дома и улицы, проходили сквозь здания, нарушая все правила видимого движения...

И я, ночное существо,
Подобно дереву, иноча...
Брожу легко, скольжу легко
По блюду бесконечной ночи...

(*Из стихов И. Павлова*)

Вздыхала листва, чуя близкую осень, был август, звездопад, пахло далеким, неслыханным светом... Глубоким было наше дыхание. Мы говорили распахнуто, широко, верно. О том, что и мы, и эта ночь, и деревья, и звезда, и все, кто понимал это, — были *о д н о*. О Боге, любви, о бессмертии... И мы любили друг друга, и весь мир друг в друге, и все, все...

Из зоопарка вышел лев. Не осознав того, что произошло нечто неслыханное — забыли запереть клетку, — он медленно покидал зоопарк, пересек трамвайные пути и пошел по Преображенской, мимо Привоза. Было пустынно, тихо. Шарахнулся мимо милицейский мотоцикл, обдав зверя омерзительным запахом отработанного газа. Лев с отвращением взял в сторону — и побежал. Потом остановился. Что остановило его? Его остановила афишная тумба. С плаката на него смотрело обласканное цирковой публикой животное: великолепный красногубый зверь Бугримовой смотрел на линяющего, измученного, вырвавшегося из тюремной больницы льва. И он повернул обратно.

Прошел трамвайные пути, осторожно обогнул спящего сторожа и вошел в свою клетку.

— А, знаешь, в этих спиритических сеансах что-то есть, — высказал осторожное предположение Фима.

— Вот именно!! — рявкнул Диаблов. — Наконец ты это понял!

И от возбуждения взобрался на шкаф. И долго сидел там, обводя присутствующих глазами опасного сумасшедшего.

Глава 3. Посещения

Петерей появился, золотушный герцог, начинающий сатир с поэмой в кармане. Был он печален и смешлив, астеничен и зорок. Похохатывал а ля Володя Рутковский и походил на инкубаторского петуха, и гребень имел бледный.

— Ты заметил, как он меня боится? Меня все боятся. Этот с бородой меня тоже боится. Нервные люди меня боятся. И худые люди боятся. Потому что я Рэй, поэт, девятнадцати лет, — а вы кто?

«Плебей ты вонючий, от тебя несет маргарином», — подумал Аркаша, но сказал:

— Все ты, Рэй, преувеличиваешь.

— А Диаблов меня не любит, потому что я молодой и свежий. Он старик и меня боится. Он меня оскорбил, а мне смешно. Ой, я буду смеяться! Ой, мне уже смешно. Ой, я умру от смеха!.. Все меня боятся. Любит меня только Оксана, да и то понаслышке. А монархистка мне изменила, вонючая комплексная баба, я знаю, у нее Эдипов комплекс и вообще всякие недостатки... Я люблю полных и полых, рьяных и пьяных, синих и сонных, алых и вялых... И еще — Юру люблю. За то, что он все понимает.

— Скука, Рэй, скука. Суета сует и всяческая суета, — ответствовал Юра. — Всем давно пора в змеиный питомник. Там интересно.

— Хочешь, я прочту тебе свою поэму?

— Читал, читал. Скука, скука. Не то. Надо не так, иначе. Например:

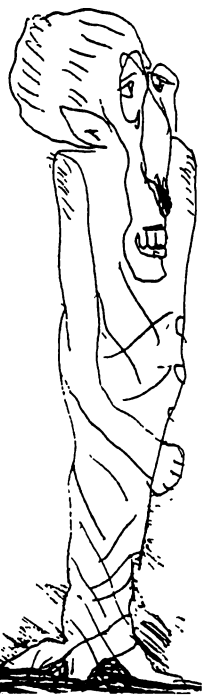
Люблю фарфор, хрусталь, стекло
И белое японское вино...

— Все равно, Юра меня понимает, он только делает вид...

Рыжий еврейский мальчик, с патлатыми пейсами грустно веселился. Одиноким богом воображал себя, летающим над кучей дерьма... А сам искал работу:

— Я знаю, меня не берут на работу, потому что у меня волосы, они меня все боятся. Я им кажусь аморальным... И Аркадий меня боится. У него комплекс: он невысокий. А потом, он очень культурный. Он не может позволить себе пукнуть при дамах. Куда это годится? Нет никакой морали. Ее придумали слабые люди... У меня простужено горло и появились гланды. Глотать мне трудно. Я пью наркотический воздух... Всем нам давно пора колоться, заниматься педерастией, курить гашиш и становиться хиппи. Надо ругаться, ругаться, и все матом, матом. Это глупо — скрывать свои мысли... Надо свободно мочиться, не забегая в пошлые туалеты, — а так, прямо на улице. И мир обновится. Кучки кала в фойе оперного театра будут напоминать людям о Боге и бессмертии...

Все было, все есть, все будет.
То, что было, есть.
То, чего не было, будет.
То, что есть, есть.
То, чего не было, есть...
Есть хочу, есть!



Шéл Рэй, тащился, горбатый, через город... Наступал котам на лапки («пусть не ходят босыми»)... Встретил его Лунц, 24-х лет, в очках, усатый, поэт — и говорит:

— Какого хрена, Петя, ходишь? Худеешь, два мешка под глазами тащишь. Болеешь? Возьмись за ум, Петя. Не будь странным.

Нет, и он так мало понимает в жизни, где распахиваются бездны. А еще поэт. Вздор, чепуха, побоку все это, побоку. Дальше надо смотреть, дальше. Выше.

По ночам он работал под одинокого бога. Летал над грешною землей, садился на трубы. Распинал себя на дымоходной трубе канатного завода. Там легкие его заносило дымом, свежий

обрызгивал ветер, голову его освежало пламя. Грудная клетка хрустела, он запер там свою любовь... Потом срывался и улетал дальше. Мироздание искрилось наверху. Внизу была земля, набитая трупами и оздоровительными санаториями, поэтами и прохожими, служащими и растениями... На углу рос Новиков. Он еще маленький, изучает ботанику. Пьет какао... Он кактус, растут у него колючки, потом зарастает бородой, горло полощет ромом, коварно предлагает выпить. Сам же подозрительно не пьянеет. Берегись, Рэй!..

Пролетал над городом рыжий иудей с лицом пророка, протянув журавлиные ноги. Носом своим великолепным вынюхивал сточные ямы, свалки, заброшенные клозеты и пустыри. Ночь разила бензином и использованными презервативами... Сверху увидел, как колотится сердце бедной собаки, которая все потеряла... Даже беззубые женщины с продажными бедрами не привлекали его в этот час. Даже жирафы в ночных кабаре, танцующие танго, не привлекали его... Федя и Эдя ехали на велосипеде. Он взял след. Надо послушать, о чем говорят.

— Надоело. Все надоело. Буду работать профессиональным нищим. Да, нищим. Это будет эффектно: поэт с протянутой рукой. С протянутой в вечность рукой... А от женщин я милостыни не приму, я сам им подам. Отращу бороду, перестану мыться, задубею от пота — и стану у входа в город... Изменю пейзаж города. Освежу взор прохожего.

У истоков квартала, где заворачивал ветер, маячил учитель. Это был Арзунян, поэт 34-х лет, армянин, полысевший поклонник Шивы и автор бессмертных стихов:

Сперматозоидята
Приматов заедят...

Молоком своей праматери вспоил он Петрушу. И теперь Петруша его своей астеничной рукой убивает. Какое наслаждение — наблюдать, как ночью, под луной, пускает синеватые слюни учитель! А он его душит и душит...

«Юность — это возмездие», — говорит Ибсен. Петя не читал этого старого маразматика, но сейчас бы он его принял.

Шел босыми ногами в блузе Толстой — идиот, с котомкой и книжкой под старческой мышкой. Шел босиком Толстой, идиот, и встретил юного Рэя. Толстой снял шляпу, почтительно постоял в канаве, пока не прошел тяжелой походкой на длинных ногах рыжий зеленоглазый фламандец с полотен Ван-Эйка. Без посоха шел он, грудь его была отверста, из нее выступали поэмы, числа, люди, баобабы, бежали собаки, перееханные автомобилями. Обдал старика пряным ветром, озаренный луной, скрылся...

Толстой, идиот, старик 82-х лет, писатель, что-то подумал и вынул горбушку хлеба. Посмотрел вслед, потом чертыхнулся и потопал на станцию — умирать. Дождь начинался и ветер, шел умирать великий писатель: 82-х лет, с температурой тридцать девять, с воспалением легких и лица выражением грустным.

— А Приходько все-таки поц. Все люди — Приходьки. Все меня мучают... Седые лошади и немцы. Инфаркт миокарда. Листья, Лиля, ледник. Липсики. Люстра... Люля-кебаб. Не люблю баб. Баобаб... Все мы арестантики. У всех бантики. Все — девочки... Сиреневую руку поцелуйте мне, сир. Недаром на улице холодно: весь мир сир... — начинался лепет, бормотание, гениальное набалтывание, крики роженицы, муки стиха, обмороки лошадей, всхлипывание губ, грудная жаба, рак, асфальт, эпос...

Широкой разноцветной струей рвало над урной Шуневича. Только что ему рассказали анекдот о брезгливом. Друзья и знакомые знали, что этого делать было нельзя, и поэтому делали это при каждом удобном случае. Ломал рыжие веснушчатые пальцы, мучился.

— Боже мой, боже мой! — говорил он, метался по комнате, хватался за голову, ненавидел рассказчика, люто страдая... Каждый чувствовал себя убийцей.

— Фима, где мы находимся, Фима? Кругом бандиты. Я шел недавно по улице домой, с работы. Было еще не так поздно. Правда, уже было темно. Ты же знаешь наши переулки. Смотрю: идут себе две бедные женщины и никого не трогают. Вдруг появляются неизвестно откуда два бугая, — здоровые, что тебе говорить, — и начинают к ним приставать. Они пристают, а женщины пугаются. Я бы сам испугался... Ты понимаешь, я не мог долго на это смотреть. И я решил вмешаться. Я решил им сказать. Я им только сказал: «Оставьте женщин в покое Они же вас не трогают». И что ты думаешь? Они подошли ко мне и, ничего не спрашивая, начали меня бить. Они меня хорошо избили и ушли... Когда я поднялся, я спросил: «За что?» Тогда один из них вернулся и дал мне так, что у меня до сих пор голова болит. Ну, как тебе нравятся эти подонки? Бандиты и все.

И Моничка Бильбуд ушел.

— Здравствуй, я принес тебе билет в баню.

— Куда??

— Билет в баню. Ты ведь хотел в баню... Приглашаю. В центральную.

— Зачем? — глупый вопрос, но он уже задан.

— Совершим омовение, — Гриша соблазнительно помахал в воздухе билетиком, игриво покачивался. — Н-ну, так как же, Степаныч? Идешь?

Олежек завороженно следил за билетом:

— Благодарю. Но вот такое дело: билет в общую или в душевую?

— В общую, Степаныч, в общую. Там много пара.

— В общую не могу. Не могу мыться публично.

— Так мы отказываемся? — спросил Гриша и высоко поднял билет над головой.

— Решительно. Я уж как-нибудь дома, по-своему, по-стариковски. В корыте.

— Подумай, — пропел Гриша и оставил билет с дарственной надписью на кухонном столе.

— Проклятый интеллигент, — пробормотал Диаблов, глядя ему вслед офицерским взглядом... «Гурманчик твой Гриша, гурманчик», — говаривал он мне. Он тоже любил вкусное, но распробовать это вкусное было нечем.

На город обрушилось лето. «Какое лето на дворе, какое лето!..»

Потом мы пошли к Степанычу. Он вел с собой изнурительные беседы:

— Болен я, вот что главное. Болен. Я болен так же, как они. Или болен мир? Это крайне важно выяснить. Может быть, мы оба больны? Я и мир? Нет. Мир прекрасен. Люди погубили его. И я тоже. Расплодились, толкаются. Живут, а жить не умеют... Уничтожение — всеобщее, тотальное — вот выход. Земля отдохнет. Взойдут папоротники. Бог отдохнет, как на седьмой день творения. Потом снова начнется жизнь, но другая... А сейчас белок устал, жизнь кончена. Цивилизация — это конец. Конец. Прав Юра: взорвать земной шар... А может, все-таки, уехать во Флориду? Или куда-нибудь в Армавир. В Кишинев съездить, что ли? На пару дней. И жизнь обновится. Или махнуть куда-нибудь на север. Нет, это не выход... Но бывает же радость. Надо не терять ее. Или — потеряв, воспроизвести снова. Как в искусстве. Или искусство — ложь? А талант — это наряд, прикрывающий убогую суть? (Как говорил Ницше) Нет. Не знаю. Ничего не знаю... Воля к жизни — это воля к власти. Да, к власти. Но как? Какой ценой?.. Страдание — вот путь. Оно — искупление... Человек родился во грехе. Что есть грех? Что есть истина? Христос, где ты?.. Плакать, плакать на груди земли — вот что остается...

Дождь на улице, дождь... В дверь постучали. Кого это несет? Несло Володю Абигойля.

— Олежек, хреново на душе. Одолжи 20 копеек.

— У больного здоровье спрашиваешь? Впрочем, минуту...

Побежал, занял, дал. Да. Вот выход: творить добро. Не помня зла... Но злопамятен был с детства, и христианство не давалось.

Глава 4.
Призраки войны

Субстаныч проповедовал. Трепеща ноздрями, жадно ловил он знаки внимания. Видя разинутые рты девочек, конвульсивно вздрагивал, поводил спиной, распалялся, говорил взахлеб, громоздил придаточные. Потом неожиданно останавливался, повисал на фразе, вперялся в окно: кто-то шел узким двором... Кто же это? Нет, не сюда. Как всегда, шли в туалет.

— Да, так на чем это мы?..

— Вы говорили, — шептала девушка пересохшими губами, — об онанизме и потрясенном сознании.

— И еще — о матриархате, — добавляла другая испуганно.

— Так вот: все, кого я знаю, подонки. И вы тоже. Но... — последовала пауза Станиславского, — но вы женщины, и с вас иной спрос.

— Спрос? Какой же с нас спрос?

— Вот именно: какой с вас спрос?

Он безнадежно махнул пестиком и стал одеваться. Девочки топтались в коридорчике, жадно курили, наступали друг дружке на пальцы, хотели вина, спиритического сеанса, анекдотов.

Шумно приветствовали вшагнувшего Лунца. Лунц брезгливо обогнул их, сказал на ходу:

— Девочки, когда вы перестанете мной гордиться?

И вошел в другую комнату.

Все шумно приветствовали уходящего Лунца. Все были польщены.

— Вообще, для Чехословакии я ас, — сказал как-то Толя, туманно поясняя предыдущую мысль.

Но все равно слушать его было интересно. Появился Дурманыч.

— Предавать, предавать надо всех! Всех предать и уйти в леса...

Яростно загребая ртом воздух, апоплексический череп подставив дождику, проносился по улицам, которые белели изменой. Все задевало, ранило, везде оставались пучки нервов. К старушкам Цамакиони заходил, потом к Морио Сабио.

Там играли в бридж. Проиграл рубль.

Саша Клингер томился у подъезда.

Мы поднимались по узкой кошачьей лестнице, где аккуратно стояли ведра с отбросами. Средневековый двор впустил нас, дверь открыл Матусевич. В прохладных сумерках комнаты — два апельсина на старом буфете. В углу — Сервантес в пыльных кружевах... Тяжелая шпага. Тихий папа. Витражик.

Пейзажи его были хороши, надежны... Болел весенней скарлатиной забрызганный синей водой дом. Сгрудились, пытаясь поместиться в раме, крыши молдаванских домиков — благоухающие краской и зеленью мансарды. Зеваки и жители с авоськами читали красную надпись «Мясо». Площадочник вел крупную лошадь напиться.

Дома на его полотнах жили своей жизнью, думали, ругались, плакали, ожидали. Еврейская суббота реяла в воздухе. Атлантида, которую скоро зальет вода.

На розовом тельце его лица жили синие глаза, в которых созревал анекдот.

Саша томился. С объемной фотографией было покончено. Оставалось одно: размышлять.

Напряженной жизнью жил подвальчик, выпархивали оттуда синие плазменные язычки: алкоголики опохмелялись теплой водкой... Серный дымок вился из преисподней, куда падали, спотыкаясь, ханыги квартала.

Слабоумие витало в воздухе.

— А, скоро они разойдутся. Увидишь. Максимум — через полгода. Таня с ним жить не будет, я точно знаю.

Таня с ним разойдется. И Света разойдется. Разойдется, как пить дать. Тут верняк. Через месяца три. Увидишь. Вообще, они все разойдутся. Оля с ним тоже жить не будет. Оля с ним разойдется. Через года два. Быть иначе — не может.

— А Гриша?

— Что Гриша?

— Гриша когда разойдется?

— Гриша, гад, не разойдется. Он человек основательный. А жаль.

Разрушенные семьи мерещились ему. Печные трубы торчали над развалинами домашних очагов. Ветер гулял над пепелищем, трепал лохмотья покинутых мужей.

Стоял на углу с керосиновой банкой, курил, думу думал: «Дряхлею. Нехорошо... Зубы пора вставить. Пора».

Прямо по нервам проезжали трамваи, под палящим солнцем червиво разлагался город... Ненависть керосиновым пламенем билась в глазах... Цивилизация давит, душит. Весь мир — тюрьма. Старая мысль.

Глупо. Мерзко. Тихо. Слишком тихо... Гром небесный неужели не грянет? Война... война, закончилась в 45-м. Отняли войну, а взамен ничего не дали. Человечество зажралось. Отупело от тишины. Самое время — кровь пустить. Так нет же... Убивать, убивать надо.

Искал жертву. Как будто нашел. Месяц ходил с гаечным ключом в кармане. Потом — по пьянке — потерял. Вилку взял... Но встретить не случилось.

Однажды в диван забрался и внезапно понял, что все бедные, всех жалко. И себя — в первую очередь

— Сентиментален я, как немец... Черт знает что.

Потом запил: запоем читал Ницше.

— Наш человек, — говорил он, заговорщицки подмигивая товарищу. Хотя понимал, что не в белокурой бестии дело.

— Людей будить надо. А кто не проснется — уничтожить! Безжалостно. Слюнявых гуманистов — к стенке. Всех, до одного. Гришу — первого. Потом остальных... Женщин — уничтожить тоже. Вздернуть на крюки. Подвесить. Особенно эту... А вот этого знакомого — пытать клещами.

Так думал, томился, кадык ходил по небритой шее, глаза стекленели, огоньком поигрывали. Жадно вздыхал. Вдыхал запах пожара: горела сапожная мастерская Лени-хромого (хорошего, впрочем, человека).

Потом встретил знакомого, которого в мечтах казнил... Был с ним мил, любезен чрезмерно. Так, что знакомый насторожился. Переиграл. Жаль. Кажется, спугнул.

Оббегал знакомых, насладился рассказанным анекдотом.

Домой вернулся — чай пить. Читал Ибсена... Вздыхал, сокрушался. Потом решил: все. Утром — подожгу дом... И лег спать.

Снился ему Адольф, старый знакомый. Старческая спина, бункер. Аромат писсуара, немецкого мыла... Адольф читал его стихи. «Наш человек», — сказал Адольф, подмигнув часовому. Тот понял и выдал поэту бифштекс с кровью. «Ешь. Карашо». — «Подонок, купить хочешь?! — занес вилку, ударил часового в лицо... — Врешь, гад! Подсознание мое душишь?..» — «Дас ист цу филь!..» — крикнул часовой и трудно начал уползать в угол.

Снял туфли, выглянул в окно. Текла река. Бросился вплавь... Кто-то гнался за ним. Стреляли. Мутная река — Шпрее... Отечный Мао стоял на берегу, сушил груди.

«Засада! — мелькнуло в мозгу. — Назад!..» Но было поздно. Присев на жирные ляжки, взял его Мао к себе, мокрого посадил на плечо, понес к столу... Там их ждали члены правительственной делегации... Начинались китайские церемонии. Худенького, положили в блюдо. Залили тончайшим соусом, решили выломать самый вкусный суставчик.

«Мама!!» — крикнул обезумевший поэт — и проснулся.

Долго лежал с открытым ртом, колотилось сердце. Тихо было. Стучали ходики. Мама спала... «Грешен я, видно... Отсюда и сны». Невозможно так жить.

Сел на кровати, мучительно вглядывался в окно, где была ночь... «Да. Менять надо жизнь. Круто. Жениться надо. Работать. Иначе — хана».

С этим и заснул... Проснулся в 12. Было солнце. Хотелось пить. В отливе булькала вода... Муха ныла под абажуром. Мама ушла. В кухне на керамическом блюдце мутно блестели две тюльки. Вкусно пахло хлебом.

На столе записка:

«*Заходил в 11.43. Есть дело. Совершенно секретное. В Фараоновке — халтура. Встреча — там же. Агент — тот же. Крепко подумай. Не валяй дурака. Буду в 16.27. Книгу "Справочник архитектора" следует: немедленно передать Нюсе. Это архиважно. Привет. Хаим.*

P.S.: Азнавура уже похоронили. Не того. Другого. Во вторник. Можешь жалеть. 11.51».

«Ну вот, опять напутал. Я же ему говорил. Надо же быть таким идиотом. Кто меня с ним познакомил? Ну, конечно, Фима. Впрочем, послушаем, что он скажет в 16.27...»

Ровно в назначенное время пришел Хаим и принес в бумажном совке грязного измученного котенка.

— Это все, — сказал он.

— Что все? — затравленно спросил хозяин квартиры.

— Все, что я достал, — ответил Токман. — Больше не было...

Диаблов испугался, понял, что перед ним сумасшедший. «Без паники», — успокоил он себя и участливо спросил:

— Почему?

Глава 5.
Юра, Петерей, Раушенберг

Потом ворвался Юра. Сообщил:

— «Зигфрид» продан. Осталось «Золото Рейна». Спешите! Спешите!

Потом задумался, загрустил.

— А Ната Вачнадзе погибла над Сванетией... Я говорил с ней по телефону. Потом.

— ?!

— Ну да, по телефону. По параноидному телефону... А Маркелова похудела. Странно... Пора становиться хиппи. Пора ехать в Среднюю Азию. Мне снится Средняя Азия. Меня удивляет, почему люди живут в Европе. Это неинтересно. Скука. Суета сует... Я говорю: ходите голыми, голыми. А меня не слушают. Странно... Надо вступить в клуб нулей. Мы с Рэем решили организовать клуб нулей. Приглашаю. А то скука... У Маринюка новые работы. А он скрывает. Почему? Непонятно... Видел недавно Аничку. Аничку. Она подурнела и этого не замечает... Я основал новый клуб — импотентов, но никто в него не вступает. Странно. А между тем многим уже пора... А без вина — скука. Суета... Пойдем разбудим Диаблова! Он, наверно, спит, а мы придем и разбудим. Представляешь? Будем его изводить... Генрих фон Ширах родился в Грузии, а его туда не пустили. Это все политика... Поехали на природу, будем ловить ящериц. Или к Вике — стихи читать. Хотя без вина — неинтересно.

— Не слушайте Юру, — крикнул Рэй, — у него столбовая горячка... Я написал новый стих: «Горячая печень Данте». Я не слышу аплодисментов!.. Вы видели туфли Аркаши? Ой, я умру от смеха! Он хотел нас всех поразить. Я его назвал Макдональдом. Смешно... А вообще я люблю Раушенберга. Только Раушенберга. И Гомера. А Юра не любит Гомера. Юра, ты любишь Гомера?

— Все суета сует и всяческая суета. Пошли спать.

Мы вышли. Полная луна светила. Роптала листва, чуя близкую осень. Был еще август, легкие города были наполнены ветром.

— Если бы сейчас по улице прошли войска, представляешь?

(Войско, войско должно ворваться в город, потные варвары, грязные и вонючие, должны смутить эту тишину... Закидать все калом — вот что нужно.)

— Лучше заведи себе человека, которому бы ты снился. Это самое главное. Или, представляешь, Люда: ты просыпаешься ночью, а Фима стоит и поедает свои часы...

— Я бы, наверное, решила, что так и надо...

Счастливые люди.

Воскресная рань. Птички поют. Сыро.

Несся Диаблов по утренней улице, трепеща воскрылиями, в рубашечке в клеточку, с портфельчиком подмышкой, ветерком подгоняемый. Горло прочистил, окликнул:

— Ал-ло!!

Я:

— А, это ты... Куда летишь?

Он:

— Привет! А ты? В такую рань?

Я:

— Мочу относил. В поликлинику. А ты?

Он:

— В милицию. По делу.

Я:

— Зачем?

Он:

— Один милиционер обещал музыку написать на мои стихи. Способный парень.

Я:

— ?!

Он:

— Потом расскажу. Обхохочешься. Спешу. Пока!

И свернул в сторону третьего отделения.

— Можно? Не помешал? — он же. Разыграл почтительное благоговение. — Творишь? Ну, не буду мешать. Удаляюсь, удаляюсь... — священный трепет выдал голосом.

— Да ну, что за церемонии, входи.

— Я, собственно, так просто... За кефиром вышел. Дай, думаю, зайду.

— Закурим?

Мы закурили.

— Ну, какие новации?

— Есть анекдот. Юра рассказал: ...Приходит ко мне Эзра Паунд с петлей на шее и говорит: «Давай веселиться! Будем ходить голыми, плясать вокруг деревьев, пить шампунь, мадеру, писать сценарий и все такое... все одновременно». Представляешь? Я ему говорю: «Все суета сует и всяческая суета». А он мне: «Ты неправ. Есть вещи, которых мы не знаем». А мне смешно: такой человек, Эзра Паунд, а не знает, что все на свете суета. Но я ему завидую, у него есть дело, которое он любит. Как Женя Голубовский. А он мне объясняет, что надо сначала умереть, а потом жить. По-моему, он неправ... Умереть — тоже скучно. Надо так: чтобы не жить и не умирать, а так... висеть между. И чтоб платили деньги. Тогда бы мы купили себе любовь. А так — никто не хочет. Странно. «По-моему, Юра, сейчас самое время есть деревья, листву, запивая нефтью. Если быть последовательным...» — «Да, да. Пожалуй, — нечем было крыть Юре. — Суета сует».

Какие-то сны тотальные снятся, полные немецко-фашистскими захватчиками, ночной Германией и гестапо, мещанскими вечеринками и баварским пивом, мокрыми улицами и прожекторами.

Свастика и облава. Бегство. Тени за окнами. Сознание своей вины. Спасение шкуры (чьей-то) и жизни (своей). И горе (общее). Свастики, патруль, погоня... Черт знает что.

Первые дни после путча, — кажется, к власти пришел Гитлер... Я отлично знаю, кто он такой — во сне — и кем станет — это уже история. И потому он кажется мне еще омерзительней и страшнее. Не знаю, чувствую ли я себя еще вдобавок евреем, — кажется, нет, — ничто не отягощает мою вину: я просто против. И я прохажива-

юсь нарочито спокойным шагом мимо штурмовиков, лающих, каркающих, занятых не мною, кем-то другим — кого-то выволакивают из подъезда. Автоматчики куда-то проходят строевым, и потом в кого-то стреляли и уходили.

Ветер нес обрывки предвыборных обещаний и листовки — мусор из обещаний Адольфа... Медленно, очень медленно пересекаю мостовую. Штурмовики хохотали и бросали какие-то книги... Все совершается вокруг, помимо меня, без меня: меня никто не замечает — пока — им не до меня... Поднять книги не решаюсь, не осмеливаюсь, хотя боюсь, что если пройду мимо, наверняка спросят. Надо, наверное, наступить на одну книгу, чтоб видели, как я топчу их, что свой... Кажется, пронесло, и я побежал. Напрасно! Меня тут же спросили:

— Ваши документы!

А как им сказать, что документы у тети. Почему-то.

Не поверят и ни за что расстреляют. Я хочу бежать — но страх, страх, с т р а х!!! — держит меня на месте, и меня корректно и деловито задерживают. Странно, не бьют — пока. Потом что-то меня выручает — это пожар.

Трещат и лопаются стекла, собачий лай, свистки, автоматные очереди... Кромешная тьма, дождь, в черных капюшонах проносятся штурмовики — кого-то ищут, не меня, кого-то поважней меня, поопасней... Прожекторы обшаривают Берлин, моросит дождь...

Какое-то предместье. Я, делая вид, что у меня спокойное лицо, попадаю в дровяной склад, бегу — и прячусь... Снова запах гари и выстрелы. Рядом горит. Дождь, стрельба, проносятся собаки, таща за собой эсэсовцев. Я прячусь... Когда это кончится?

Сны, проклятые сны!.. шатаюсь, подхожу к крану — кран сух. Опрокидываю бутылки (пустые), нахожу воду. Пить мерзко, за окном лиловое утро, чреватое ливнем... Ложусь. И сон продолжается.

— Хотите танец живота?

Юра начал...

— Это ужасно, — прошептал Аркаша и закрыл руками лицо.

— Почему? — сказал Рэй. — Это как раз интересно. Я никогда не видел, как Юра танцует.

Юра танцевал в плавках, с цветком, исходил потом, грациозно извивался, пела Флоренс Хендерсон.

Оставалось одно: выброситься вниз... Шел дождь. Деревья были далеко внизу, так далеко, что до них не долететь. Надо упасть, а потом добежать, доползти — и умереть, обнимая дерево.

Пусть танцуют. Потом пожалеют... Разбить бокал? Нет. Поставить на подоконник. Это все, что после меня останется. Бокал с недопитым вином. Все. Не так уж мало, и потом — это красиво. Это значительно. Символично. Это черт знает...

Боже мой, боже мой, что будет?

— Мы всё потеряли — мы потеряли надежду, туфли, родину, деньги, самообладание, волю, престиж, ориентацию, аппетит, справку с места работы. Много еще чего. Мало ли.

— Потеряна культура сна, — говорил Сева.

— Все мы — продукты своих знакомых, — сказал Гриша.

— Все мы — Кабирии, — сказал Шурик.

— Все суета сует, — сказал Юра.

— Все поцы, — сказал Рэй.

— Странно все... — сказал Фима.

— Все — подонки! — рявкнул Савлов.

— Зачем вы так тяжело живете? — спросил Гланц.

Высокая страсть к обобщениям владела всеми.

— Как видно, вы не занимаетесь телекинезом... Напрасно. Многие занимаются. И им сопутствует успех, — сказал Гланц и ушел.

Начиналась гроза.

Ползли слухи:

— Вчера на углу прошел рыжий... Сверкнул очками и скрылся. Глаз у него не было, я точно видел.

— Не может быть...

— Может. Вы не знаете рыжего. Он две недели был слепым. Искусственно.

Через час видели рыжего по дороге в Аркадию. Он бежал. Никто не гнался за ним. За ним гнался только его жир. Он сгонял его и обгонял на поворотах.

Пятого января рыжий поклялся, что не возьмет в рот мучного. И не напишет ни строчки. Пока он еще держится. Посмотрим дальше.

29 июля. Вчера рыжий сделал уступку интеллекту: уступил партию в шахматы Вячику, другу. Счет был страшен: 101:101. Так играть нельзя. Но он был склонен к перегрузкам. И склонял к ним остальных.

Дома состоялась наша беседа:

— Толя, скажи, зачем ты так поступаешь?

— Как я поступаю?

— По-своему. С работы ты — того... Привел в недоумение отца. Перестал слушать мать. С литературой как-то не по-человечески обошелся, бросил. В чем тут дело стало?

— Понимаешь, Фима, у меня свой интерес, свой индекс.

— ?!

— Трудно это объяснить, но мне вдруг стало ясно, что не то, что мы делаем, это главное. Главное то, чего мы не делаем. Ты понял? Объясняю: например мы пишем рассказ. Хорошо. В это время кто-то другой идет в кино и гуляет с девушкой. Кому лучше? Трудно сказать. Тот не может написать рассказ, тому это не дано. Ему ничего не остается другого, как гулять. А у нас есть еще возможность оставить рассказ и уйти с девушкой. Это к примеру. Ты понимаешь? Широкая возможность телекинеза дает нам эту возможность. Зачем же пренебрегать? Ты понял?.. Например, Икс. Восемь лет мучается, ищет, с кем бы познакомиться. Зачем? Зачем он мучит всех и нас с тобой? А вместо того он делает вид, что пишет стихи. На самом деле ему нужно совсем другое. Ты понял? Или Олежек — ходит как кусок несчастья. Я так не хочу. Надо жить так, как того требует твой организм. Он твой судья. А не ты — его. Мой организм требует бе-

га. Я бегу. Ты понял? Твой требует другого. Но ты ему не даешь. В этом твое зло. А писать — это же чистой воды неизвестно что. Ты понял?

Я не понял:

— Многое из того, что ты говоришь, мне как-то близко, Анатолий. Но тут где-то вкралась ошибка.

Однажды Петя разыгрался:

— Ах, какой рот у этой Наташи! Какой порочный рот у этой Наташи!.. Какие прелестные, потные подмышки у Нади! Какие подмышки!.. А капельки пота на губках у Люси? Эти неправильные, припухлые губки у Люси? Поистине высокий класс!.. Я уже не говорю о Тане. Как играют бедра у Тани! Какой соблазнительный взмах бедер у этой Тани!.. А ноги Марины? Вы видели ноги Марины? Как пикантно расставляет, садясь, ноги эта Марина!.. Нет, положительно есть смысл ходить на эти сеансы.

Кто-то ему помог:

— Что еще может привлекать в женщине нормального человека? Только последний идиот может предполагать какой-то разум там, где речь идет о женщинах, и прочее...

— А меня выгоняют из дома, — жаловался Рэй. — Меня гонят. Хотят, чтобы я работал. Смешно. Я не могу работать. Я не создан для работы.

Я должен быть только поэтом... Справку у психиатра дали. Меня признали нормальным. Странно. Они меня плохо осмотрели. Я говорил им, что люблю лучизм. А они спрашивают, что это такое. И задавали очень глупые вопросы. Они меня не понимают. Я сказал им, что слышу голоса. Пусть попробуют доказать, что я их не слышу... Вообще, все это глупо. Я должен быть свободным. Меня нужно обеспечить. Мне нужно иметь мецената. Фима, у тебя нет знакомого мецената?

— Увы, Рэй. У меня нет знакомого мецената. А своего мецената я тебе не дам.

— Жаль.

— Недавно видел Оскалыча. Он вел под уздцы большую лошадь и сказал, что уйдет с ней в лес и будет питаться листьями. А к людям не вернется... Наверно, он с ней подружился. Но, по-моему, она от него скоро уйдет. От недокорма... А Оскалыч вернется к Гаусбранту и будет оформлять ему халтуру. А лошадь уйдет к другому, и он будет ее навещать.

Тоска.

Шли в то лето питательные дожди.

Дача на Дубовой росла, расширялась от ливней, горела. Прели огороды. Пчелы сосали загноившиеся недра цветов, дурели от сладости, обморочно висели на стеблях... Тлел полдень. Вздыхали бревна́ во сне, жмурилась солома. Переворачивались, не выдерживая веса, груженные ливнем облака. Листва пила дождь ненасытно, жадно, проливая мимо, захлебываясь, смеялась от счастья.

Шли питательные дожди, начинался июль, погромыхивали грома. Над пригородом шло лето.

— Возьми же мое пальто!..

— Не стоит.

— Куда же ты?

— В техникум, — крикнул Григорий и, сгорбившись, пошел на снижение. Пролетая над Привозом, он помахал Шурику пропитанным звездной сыростью платком.

Элегантный Конь, распустив гриву, настигал его. Здесь, высоко, их никто не слышал. Гриша подплыл совсем близко. И тогда поэт ему поверил.

— Совершим омовение! Я серьезно! — Гриша понял его и тепло и благодарно заплакал.

Приближалась заря.

Глава 1. Бар

В баре собирались художники, актеры ТЮЗ'а, негры, засланные в СССР учиться... Иногда туда забегали за пачкой сигарет поэты из литобъединения (литобъедки) и просто окололитературные девочки — побаловаться кофейком, фисташками, послушать умные речи, подышать элитой. За отдельный столик усаживались сотрудники «Комсомольской искры».

В кроваво-алой ассирийской бороде иконный Ануфриев коньячок потягивал... Порой туда заглядывали его жены, делая вид, что интересуются поп-артом.

Бенимович читал свои стихи Маркеловой.

Соколов, близоруко щурясь, молча прихлебывал крепкий кофе, думал о японских вернисажах, гейшах, теософии и зорко следил за весной на улице. (Весна начиналась трудно. С гриппом, посмаркиванием. Март застрял в горле апреля.)

Появлялся Шанс, за каждым столом находил знакомую женщину. «Привет, лапа!» — говорил он каждой и, плотоядно щерясь, бывшим шармом обволакивая, рассказывал о фильмах Хичкока и режиссуре Шерри Кларк.

Заходил Пиневич: одолжить 20 копеек.

— Алиготэ! — кричал, обаятельно улыбаясь, Изя Гордон и шел с членами Союза издавать сборник.

Бледный, иссохший от вдохновений, почти зеленоватый знакомый поэт редко-редко заглянет в бар и скроется, истает в тумане.

С первобытной тоской смотрел в окно Сыч — красивый, лохматый, печальный. Положил тяжелые, спелые кулаки на столик, думал, бородой обрастал. «Что, если выбить все стекла, сломать столы к какой-то матери, убить бармена? А заодно уже разгромить кофеварку и зеркала побить на головах прохожих... Упиться в смерть и заплакать, поломать все деревья и поджечь дачу... Тоска».

Однажды влетел в бар Штивельбан, озабоченно и злобно обыскал глазами столики — искал Шурика. Но Шурика не было... Шурик давно уже работал, стоически переносил сопение Хорошавина и думал о Грише.

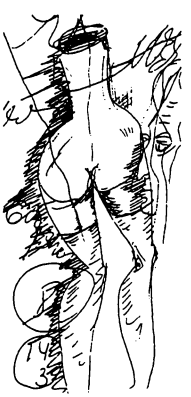
Иногда забегал Лещ, в красной рубашечке, с запотевшей подмышечкой, в серой шляпке, сгибаясь под тяжестью металлического лома в портфельчике... На минутку подсаживался, наспех беседовал:

— Понимаешь, захожу к Эдику Савлову, а там — полный звездец. Набухался — и с третьего этажа телевизор — вниз! Ну, думаю, хана. Телевизор, натурально, грохнулся в асфальт. Пацанам на запчасти. Я — назад. Не пускает. Стал потом на стены рваться. Он. Представляешь? Еле ушел. А у меня гравюры. В общем, полный пиздец... Работать надо. Увидишь Вику — передавай привет. Я слинял, — и он убегал.

Ветров вечную трубочку посасывает, щечки малиновые, как у спелого яблочка, надувает, дымком ароматным попыхивает, много-много молчит, в нирване весь. Девочки вокруг, трубкой окуриваются, от дымка пьянеют, пощуриваются.

А это кто? Кто это, такой шармовитый, самовитый, импозант, ширпотрэ, галантерэ, перуэ — славный такой, веселый: изюмчик этакий — кто? Кто он, я спрашиваю? А вот не знаю... Хрен его знает, он всегда тут, всегда.

А это — серый волк, зубами щелк! Из ТЮЗ'а. Ух, я его знаю. Ежедневный такой. Всегда тут. Широким жестом. (Любимым местом.) Всем — коньяк, всем — ррр-ривет!



А вот и Лиличка, глазки сузила, как Сузуки-Судуки, японская дива, стереозвезда, Лиля-сан, Рахиль. Янтарная женщина. Своя.

А вот знакомая блендь мелькнула. Вильнула рыхлой попой. Трусы показала. (Мельком, а приятно.)

— Сидят вельветовые травести,
пьют воду со льдом...

Неужели стихи?

Ну, а кто это? Это Петя Булько. Режиссер. Режиссэр. Пэр. Мэр. Мэтр. Пьер Булько. С кис-

точкой. С румянчиком и бусинками глазными, жадными щелочками в очках играючи... Что это такое? Эх, братцы: это Петя. Режиссэр. Ух, этот Петя! Остряк. И пиеску — ничего поставил. Пиеску — ничего сделал. С выдумкой, вкусом, этаким стилем, цветом, звуком, смаком. С идеей! Ух, этот маленький, грассируя на поворотах, дамский интересант, умный такой Петька; цитируя Анджея Вайду и Феликса Круля (из-под Томаса Манна), — мальчик добьется своего. Пожелать бы ему удачи, такому, в московских Таганках и ВГИК'ах, в вузах, и втузах, и ВХУТЕМАС'ах!.. Нет, в самом деле. Это новое поколение Петей Булько: Одесса — Братск — Хабаровск — Польша. Свет! — свет! — рампу! — рампу! Ох, этот Штирлиц. Дай бог ему здоровья.

Глава 2.
Предприятие

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...» Чижикова, угол Советской Армии. Трамвайные пути.

Сыро. Тепло. Деревья плачут. Туман. Из подворотен на мостовые кошки выбегают на верную гибель... Мы идем к Сутанычу.

Из подъезда пахнуло гнилью, как из дупла старого зуба. Разноцветные отбросы разили свалкой, выгребной ямой. Отбросы светились. Вонь неслась за нами, как богиня мщения. Она была вездесуща. Ударяла из щелей. Меняла тон и цвет. Клавиатура вони висела в воздухе. Чуткая, как эолова арфа. Только тронь.

Соседи забросали двор кошками. С мягкими шлепками падали кошки на асфальт. Двор, как фрегат, уснащенный парусами и флагами — многоярусным бельем, — плыл в еле заметных сумерках.

Наверху зажглись звезды. Было душно. Двор пересекал экватор. Команда роптала. И тогда Колумб поставил свое яйцо...

Родители избили Володю Абигойля. Конечно, он сумасшедший. Но жалко парня. Действительно, жалко было парня.

Мы проходили гурьбой, по одному, гуськом, в затылок — шли к Диаблову. Как на явочную квартиру. У нас было дело. Мы несли вахту. Охраняли если не невинность, то честь. Честь и достоинство. Честь и достоинство женщины. Девушки. Может быть, даже матери... Блюли элементарную безопасность.

Мы исправно несли свою вахту. Но нас раздирали разногласия... Девушек мы провожали. Передавали из рук в руки. Патруль работал слаженно. Но разногласия были. Не в тактике, даже не в стратегии. А по существу.

«Укусившему меня — смерть; покусившемуся — смерть». Таков был девиз Диаблова. В самом деле, взбе-

сившегося маньяка, посягнувшего на честь девушки, надо было убить. Убить — и концы в воду. Никакого сочувствия. Подонок и скот, он заслуживал кары. Все воодушевились, зажглись справедливым негодованием. Все решили: смерть гаду... Мы сладострастно смаковали план расправы. Наконец, найдено дело! Появился смысл.

Но прошел день. Второй. Поиски результатов не давали. Мстители начали остывать. Сомнения зазвучали в воздухе, когда уже был взят след:

— Избить до потери пульса — это, конечно, надо. Но убить? Это уже как-то... знаете... того... Это слишком.

— Нам нужен здоровый хлопец. Сами мы его не схватим. Это ясно. Сколько нас? Всего четверо или пятеро — мало. Нам нужен здоровяк. Надо пригласить Валеру... Иначе мы сгорели.

Яростно проповедовал смерть во имя человечности Диаблов. Не уставал. Зажигал маловеров. Курил. И медлил, медлил... Маньяк и насильник гулял на свободе. Судя по тому, что никак не попадался, знал, чуял, что за ним охотятся. И стал по-звериному осторожен.

Накурено было. Дым валил из квартиры. Редела дружная когорта мстителей.

— Кто она такая? Я, вообще, ее не знаю. Может, она сама захотела. Кто мне это докажет?

— С кем я связался? Ты такой же подонок, как тот. Такой же гад. Боже! На кого надеяться?!

Долго потом говорили о человечности, о Достоевском. Уличали друг друга в трусости. Возбуждали опавшее мужество. И с тоской смотрели во двор.

Уже темнело. Чья-то тень метнулась в подворотне? Неужели?.. И рука сжала кухонный нож.

Это был просто тихий сосед. Хорошо, что он дал рассмотреть свое лицо. Иначе неизвестно, что могло бы еще быть. И как.

Ночью кто-то стучался к Вике. Вика зажигала фонарь, подходила к двери, прилагала ладонь к стеклу — вглядывалась в ночь. Неподвижная тень, и в центре — огонек тлеет. Фонарь погасила, отшатнулась, потом увидела: Савлов. Щеки провалились, глаза дикие, воротник поднят. Беретик, руки в карманах пальто. Испугалась, потом впустила.

— Входи.

Входил осторожно, с опаской переступил порог, озираясь.

— Что случилось?.. И дверь, дверь закрой. Дует.

— Ты одна?

— Одна... С Алкой. А что?

Вика напряженно и обалдело смотрела на пришельца.

— Тэк. Извини. За мной следят. Срочно надо было скрыться. Я ненадолго... Извини. Следы заметаю.

— Кто следит? Какие следы? Что за чушь! Ты где-то наследил?

— Увы. Это не чушь. Мне уже угрожали. В письмах. Но ничего. Так просто я не дамся, — вынул из кармана обломок вилки, сжал в красном мерзлом кулачке, сделал короткий выпад ручкой... Потом спрятал. — Не дамся.

Вика стояла, кутаясь в шаль, походила на дрожащую свечу.

— Боже мой, вы все просто с ума посходили... — сказала она с отчаянием. — Кто-то вас разыгрывает. Вы кому-то безголово подчиняетесь, и все тут. Просто посходили с ума.

— К тому, видно, идет, — ответил Павел и, проверив, нет ли в доме засады, попросил ночлега.

Из тьмы то и дело всплывали утопленники. То были наши лица. Оплывала свеча в трофейной немецкой пепельнице, лампада потрескивала в углу, слабенькое утро проступало в запотевшем стекле, на пороге спал изнуренный ночным бедствием мальчик, сложив на стуле тонкие ножки. Звали его Стасик-Второй. На шейке мальчика лихорадочно тикала, тарахтела голубая жилка. Никто не знал, как он сюда попал.

Собрание подходило к своему концу.

— Итак, — резюмировал неутомленный хозяин. — Пункт А: развести посты. Тая выходит в 6.30. Следовательно, мы — в 5. Толик! (Толик давно ушел.) Ты провожатый. Додик на подхвате. Пункт Б: я с ватагой за рельсами, в засаде. Начеку. Нам фартит — на дворе туман. Дальше...

— А может... подождать? Может...

— Заткнись. Тебя не спрашивают. Дальше: ночью — смена. Подъем — в 6.00. Форма одежды — обычная. Все. Вопросы есть?

— Есть вопросы. А если он начнет драться? Что тогда?

— Поц. На это есть инструкция. Еще одно слово — и ты лишаешься. А поскольку ты много знаешь... то... сам понимаешь... Ты понял?

Угрожающе нависла его тень.

Отягощенные общей причастностью к тайне, все стали расходиться, позевывая от страха, совершенно ошалевшие от неизвестно откуда и зачем взятой на себя ответственности... Было уже утро.

В дверь постучали. Двое провожатых ввели упарившуюся девушку.

— Все в порядке. Слежки не было... Мы снова проверили посты.

Наконец, выяснили адрес. Действовать решено было немедленно. Но как? Где?

— Значит, ты отказываешься?

— Видишь ли, — сказал Лунц, — я не могу бить человека, если я не знал его раньше в лицо. Я должен знать. Мне надо разозлиться. Иначе у меня не получится. Другое дело, если я бью и знаю, за что... И куда.

— Как?? Ты еще не знаешь, за что?!

— Видишь ли, я должен видеть, в чем там дело. Пока я не вижу. Мне не ясно, что там у них произошло... Было бы, конечно, хорошо, но я отказываюсь. Не надо на мне настаивать.

И ушел.

— Ах, свинья. Ах, какая же он свинья!

Но такая искренность обезоруживала. Никто не сомневался в том, что произошло что-то нехорошее, что-то не то, все изъявляли готовность наказать преступника, но действовать не торопились. Действовать

было уже невозможно. Весь пыл был истрачен на обсуждение и дебаты. Даже отец Павел махнул на все рукой. Но совесть взывала к возмездию...

— Кто это здесь говорит о совести? Все меня предали... Один Додик со мной. Додик пуличку не предаст.

Потом решил: сам. Сделаю все. Убью. И отдамся в руки властям. Только так оправдаю звание человека.

Прошло восемь дней. Выяснилось, что случай с кем-то повторился, и преступник был задержан... Наконец-то, как гора с плеч. Все облегченно вздохнули. Смело можно было расслабить свою напрягшуюся совесть... Но долго еще потом шли, тревожно оглядываясь, не следит ли кто. Не разгадал ли кто наших замыслов? Не посягнет ли кто на наших дам? Не подумает ли кто чего?

Глава 3.
Я становлюсь пасквилянтом

В ушке дамской булавкой ковыряя, говорил, мучительно морщась:

— Пошляк твой Гриша и зад имеет широкий. Он-то его и тянет к земле. Когда у человека большой зад, это о многом говорит. Зад легкий, поджарый, нервический — другое дело. Тут подразумевается дух: некая духовность, жовиальность, полет! Необремененность обедами, кишечная свобода. Наконец, склонность к поносу, к жизни на ветру. Уверяю тебя, это верный признак. А у Гриши... Нет, совсем не то.

Все было настолько стройно, убедительно, что возразить было решительно нечего.

— И поэзия его, если угодно, носит на себе печать его зада. Да, да.

— Ты имеешь в виду насиженность?

— Что-то в этом роде.

— А лирика?

— Не верю. Подозреваю, что анальная эротика.

Бродский Леня говорил мне как-то:

— Все мы боимся умереть под забором. Отсюда все наши беды, трусость. Капризные дети цивилизации. У нас сложные представления о приличии. Все мы боимся остаться без костюма. А накрашенные женщины — это особенно противно... Посмотри, как люди не уважают друг друга в трамваях. Хамство. Руки кладут тебе на плечи. Я им говорю: не прикасайтесь ко мне. Это не прилично. Никакого внимания. И дышат при этом в лицо. Я уверен: Чехов никогда бы не стал ездить в наших трамваях. Это же орангутанги.

В конце концов, чего вы хотите? Оставьте меня, наконец, в покое! Я вам не обязан. Чего вы пристали? Все это

рассказывать мне надоело. Устал я вас смешить, устал я вас забавлять. И хватит. И баста.

Пристали, в самом деле. На меня наседают. От меня требуют! От меня требуют кредо. Кредо, кредо! Подавайте им кредо. Не больше не меньше. Кредо. С какой стати я должен дарить вам свое кредо? Дурачками представляться нечего. Сами отли-и-ичненько понимаете, что к чему. Нечего прикидываться. (Отлично понимаете, что, по чистой совести, от всей души идиотами вас считаю.) Хотя и скорблю... Так чего ж приставать? Кредо, кредо. Фиг вам большой, а не кредо.

А хотите правды — извольте. Получите. Дайте только слегка подсобраться.

— А Шурика ты напрасно любишь. Напрасно. Я о нем такое знаю... Конечно, я его уважаю, этого не отнимешь. Но он стал дружить с Гришей и гибнет. Так что не надо идеализировать.

— Собственно, при чем тут Шурик? Бред собачий. Все равно он лучше тебя.

— Это еще как посмотреть. С какой стороны.

— А чего тут смотреть? Все и так ясно.

— Судак ты, как я посмотрю.

Ушел. Обиделся.

Потом вернулся, крикнул:

— Подонок он, вот он кто. Хотя написал великие рассказы...

И ушел.

Ах, что делается, что только делается! Я становлюсь пасквилянтом. Я заразился. Я стал лицемером.

Мне грустно. Я хочу любить и верить. Но наступать себе на мозоль самолюбия я не дам. Я хотел бы это подчеркнуть.

Оставьте меня все. Я выдумываю любезный мне роман. Роман о моих знакомых. Я их критикую. Но, вместе с тем, я их утешаю. Я делаю им больно и приятно. Я им делаю щекотно. Я делаю им интересно. Я всем делаю пикантно и где-то местами остро.

А вот и Юра:

— ...А, это вы? Привет, привет! А я был в гостях у пианиста. И ел суп из скорпионов. Очень вкусно. Дели-

катес для вегетарианцев. Удивляюсь, почему скорпионов не продают на экспорт? Как рыбу. Нам бы платили за них валютой. Представляешь?.. Тиару, тиару! Пора надеть тиару! Все станут католиками. Ору: оранжа! оранжа! А госзакон твердит: безнравственно и нельзя. Странно... Все подводные лодки мы купили у Италии. А свои потопили. Представляешь?

— ...Зачем вы держите в доме Рэя? Это негигиенично. Лучше проветривайте дом хлорофосом... А стихов поменьше, поменьше. Все это отвлекает.

— ...Я смотрю на людей, и мне смешно: они все пьют газированную воду. На это у них уходит полжизни. А ведь можно совсем иначе: не пить вообще. А так, мысленно, мысленно. Одним усилием воли. Как Джойс... Все суета сует.

— А ты, Фима, поправился. Да, да. Не говори — заматерел ты. Брось, брось — поправился. Я же вижу. И ляжечки у тебя стали... А спина — просто спина захолустного Антиноя. Молодец... И попочка тоже. Совсем округляться стал. Жизнь тебе идет на пользу... Ну, ладно. Так о чем я? Зачем, собственно, я к тебе пришел?.. Ага, вспомнил. Понимаешь, надо помочь человеку.

— Я слушаю.

— Надо помочь человеку. Он художник. Ты его не знаешь... Три дня не ел. Скитается. К тому же, избили в вытрезвителе. Короче, нужно пятьдесят копеек.

— Всего?

— Как минимум.

— Ну, полтинник — это можно.

— Мерси. Я пошел. Он тут внизу стоит. Я просил его не заходить. Вид у него, знаешь ли. Ну, ты понимаешь... Пойду — накормлю.

И ушел.

(Однажды пришел с аналогичным предложением: «Тут у меня два художника сидят. Совсем опухли. От голода, в основном. От пьянства — частично. Короче: нужен рубль». Я не дал.)

Глава 4.
Впечатлений масса

Ночью, под звездами душа одинока и беззащитна. Теперь я вспомнил, когда это было.

Мне было двадцать лет. Душа раскрывалась, наливалась холодным небом, чисто вымытой высью, высоким ветром, тоской, слезами, одиночеством. И мне показалось, что у меня никого нет, кроме этого неба. О, отдаться, отдаться этому ветру, этому небу, которое одно есть правда, которое одно сродни моей душе, и душа об этом догадалась. Поэтому я плачу от безмерной печали, утолить которую может только любовь... или не может утолить ничто. И не надо, не надо.

Я мстительно плакал, глядя в небо, потому что знал в эту минуту, что никого нет лучше меня и несчастней. Так пусть же, пусть никто не знает этого, тем горше они раскаются потом.

Я смотрел вверх и чувствовал, что здесь начинается истина, здесь, высоко, скрыто мое высокое предназначение, тут, с звездами наедине, постигается нравственный закон... Луна плавала в весеннем небе, как тающая льдинка, как обломок чего-то, что было когда-то большим и ярким. Луна иссякала, таяла, умирала высоко над пустыней города, уносила меня с собой — наполняла глаза каплями слез, делала меня свободным и зрячим, сжимая мне горло.

— Ну, расскажи, Аркаша, что там, как? Почему? Расскажи все?

— Рассказывать можно много! Впечатлений масса. Но не это главное. Главное, что я приехал и понял, какой здесь ужас... Я не хочу сейчас говорить о Петрограде. Но здесь — и это ощущается так явственно! — здесь душный, спертый воздух провинции, воздух сортира. Там хоть какая-то свобода, какая-то возможность вы-

сказаться. А тут, в Эдессе, какой-то ужас. Все напряжены, недоверчивы. И пугливы. Теперь, после поездки, Эдесса кажется мне просто клоакой: милой, уютной клоакой. Ужасно... И еще: ты заметил, что все, кто в Эдессе пишет (а таких здесь большинство), — никто не относится к своим писаниям серьезно? Какое-то дилетантство. Что-то очень несолидное. Как будто никто в то, что пишет, не верит. У меня такое впечатление. И это тоже ужасно. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что я прав... И потом: почему в Эдессе запрещены дуэли? Это было бы так красиво. Скольких дураков поубавилось бы.

— А не наоборот?

Какие-то тени, призраки мелькают передо мной, мельтешат. Зачем они ко мне ходят? Зачем они кушают мой воздух? Я не могу их долго кормить сухим кормом. Скоро он весь выйдет, и надо будет давать им живой. А где я его возьму?

Зачем это все нужно? Зачем они заглядывают в глаза искусству, они — ленивые, нечестные, похотливые, слабо начитанные люди? В глаза т о м у, чей взгляд им вынести не дано?

Но, может быть, я неправ. А наоборот, правы они? А? Бог знает, что я говорю.

Олежек мне говорил:

— О, эти художники — кало-ритнейший народ. Ох, кало-ритнейший! Ты посмотри, какое разнообразие! Один Лещ чего стоит. А Тюльпан? А Мока? Гаусбрант?! Это же черт знает. Каждый — целая поэма, прости за банальность. В самом деле, смотри дальше: Ануфриев, Стрельников, Маринюк! Ну, эти еще тихие. Относительно. Но ты бы послушал, как фантанирует Гаус (если он в ударе), или Мока. Каскад. Фейерверк! Послушай, я забыл Сыча! Как я мог забыть Сыча? Надо их только послушать. Жаль, что ты их мало знаешь. Не матерьял, а объядение. Ну, ничего. Ты только раз попади с ними в

одну компанию. И кайф плюс груда фактажа тебе обеспечены... А скольких я еще не назвал! И не разбрасывайся. Займись одним — и выжимай, выжимай, сколько влезет. Это должно быть дьявольски интересно.

— Ты думаешь?

— Ну конечно же!!

Как-то мы беседовали с Шуриком об австралийском, представьте себе, балете. Не помню уже, по какому поводу, Шура сказал:

— Понимаешь, это все равно что ты на серебре: ешь серебро — и... срешь, прости меня, серебром.

— Вчера приходил Гриша. Одарил меня химической улыбкой. Сказал, что принимает только по субботам и воскресеньям. Но только не поздно. Как ты думаешь, Фима, что, если прийти к Грише и снять с него трусы, а? Как ты думаешь, имею я право это сделать? По-моему, это надо сделать обязательно. Знаешь, что мы увидим? Мы увидим его скучную писю... Конечно, если он встретит нас в трусах. Но он встретит, это точно.

— Как поживает наш лучший друг с рогами во рту? Ты его видишь?

— Я его вижу.

— Многоликий он человек. По-моему, он из тех, кто всюду бывает одновременно.

Диаблов действительно был вездесущ.

Глава 5.
Монолог Юрочки

— А меня зовут Гарри, Гарри... Гарри фон Строганов. Был такой дзюдоист. В Монако... Я служу гувернером, гувернером. У одного дантиста. Дантеса. (Хохочет.) А у Дантеса есть дочь Анюта, по фамилии Данзас. Представляете? И я на ней женат. У нас первый ребенок родился — Пушкин... Александр Сергеевич. Гарри фон Строганов, урожденная Лунц... А вы буцы, буцы.

— Юра, хватит, что ты несешь? И потом — тут дамы.

— Это я вас шокирую, шокирую.

— Лунц что, был твоей любовницей?

— Почему?

— Ну, урожденная Лунц, ты сказал.

— А, нет... Это не обязательно, это не обязательно. Я мог только так думать, а у ребенка уже возникла фамилия. Мы многого не знаем. Так бывает. (Юрочка продолжал глумиться.) А Карлов тайком придет к моей жене, и у них родится... Рэй! Проедставляете, как Карлову станет противно? Он даже перестанет у меня бывать. Он никогда не узнает, что это я подложил ему такую свинью. Хе-хе-хе-хе-хе... Вика, вы сегодня так шикарны. Хотите, я вам прочту сексуальную поэму? Сейчас все любят сексуальное, сексуальное.

— Ребята, вы же видите, что Юра пьян. Зачем вы его привели в таком состоянии?

— У вас такая сестра! Ее зовут Мариэтта, Мариэтта... А я прихожу домой и меня там ждет митрополит Коломенский. И Крутицкий. Одновременно. Грустно... Лора, Лора, вы такая красивая, Лора. Возьмите меня себе, Лора. Я подарю вам книгу о биотоках моего мозга. Хотите?.. Аллочка, Аллочка, почему вы меня не любите, Аллочка? Я вам говорю: надо сделать аборт! Один, общий, понимаете? А доктор говорит: нет, нет! Я говорю: да, да, да! Доктор говорит: нет, нет! Я говорю: да, да, да, да! А доктор говорит...

— Ребята, это его стихия. Слушайте внимательно, ребята: Юра особенно хорош в эти минуты!

— Слушайте, это же замечательно!

— По-моему, его нужно просто отвести домой.

— А доктор говорит: ну, поехали в турнэ, в турнэ, в турнэ. Я покажу вам айсберги в ночном окошке... (Напевает.) Па-а-па, я хочу танцевать с вами танго, па-па... Ору: оранжа! оранжа! Всё кругом оранжевое. Оранжевое жаркое, и прочее, и все такое. А господа слушают, слушают. И ничего не понимают... Мама, я танцую с вами танго, мама.

Юра разошелся.

— Это ужасно, ребята. Надо его унять. Просто уложить спать — и все.

— Что вы? Это же интересно! Юра вещает. Его надо слушать. Он говорит правду. Надо слушать Юру: он всегда говорит правду. Я не считаю его больным. Отнюдь. Я считаю его просто искренним человеком, который говорит то, что думает... Вы все недооцениваете Юру. Он еще себя покажет.

— У меня есть мама. Она повешена... А что такое?! Вам не нравится? Это начало поэмы.

— Ужас какой-то.

— Мэри, Мэри. Меня зовут Мэри...

— Юра, тебя зовут Гарри, Гарри...

— Нет, меня зовут Мэрри, Мэрри... Я хочу раздеться!

— Боже мой, держите его, держите! Хватайте...

— Раздеться! Почему вы боитесь раздеться? Как Мэри! Она работает в конструкторском бюро, возле чайной. И принесла на чертежной доске — ребенка! Ха-ха-ха-ха-ха!.. Представляешь?

— Уберите его, наконец, отсюда! Он сумасшедший...

— Он не в себе сегодня, этот Юра. Надо с ним что-то делать, — сказал Гланц.

— Вы все диагносты, диагносты! А я хочу спать. Вы говорите: море, а я говорю: флаг. Безнравственно... И

нельзя... Госзакон твердит: будем спать. Если вы нас не кормите... Я уезжаю. В Монако. В княжество Лихтенштадт.

Наконец, Юра угомонился. Он устал. Он много накануне выпил. Он все норовил лечь на пол, но его уложили на тахте.

Он тут же заснул. Все привыкли и скоро о нем забыли. Все шумно что-то делали, никто не обращал на него внимания.

Потом вбежала Аллочка и сказала:

— Юра не спит, ребята. Он все время лежит с открытыми глазами. Мальчики, я боюсь. Надо его разбудить.

Стало тихо. В самом деле: Юра лежал лицом вверх и глаза его были открыты. Только очень неподвижны.

— Ребята, зачем мы смеялись? Вы же видели, что ему плохо. Что теперь будет?

В это время Юра потянулся, застонал, открыл широко глаза. Сказал:

— Я вас люблю.

И заснул.

Глава 6.
Пиратыч

— Меня удивляет: пускаешь к себе разных шмакодявок, вроде Рэя. И еще Аркаши. Ноги моей после этого не будет... А ты, Юра, болван. Тебя не спрашивают. Идите вы все... Знаете куда?

Лестницей загромыхал убегающий.

В комнате стало недоуменно и тихо. Потом все заговорили. Медленной кровью налился нос Рэя:

— Вот еще, идиот. У него, наверно, климакс. Все это просто гормональное. Он злится, что он старик. И боится правды. Поэтому он так говорит. Дурак.

Жить стал неопрятно, неряшливо. Страданиями своими потрясал, развешивал, как белье, забывал снимать. Бельишко пересыхало, твердело, пылилось.

Стал погружать персты в раны друзей. Врачевать стал. Читал в сердцах. Внимателен был. Доверялись ему тайны. Стал немало чего знать про каждого. Про запас держал людские души. Пухнуть стала голова от понятого. А кому расскажешь? Только всему миру. Только ему.

И ночами писал. Много, рьяно, безрадостно.

Однажды прибежал ко мне — усохший, встрепанный, сединой совсем осеребрился, пух летал над челом. В глазах страдание затаилось, держался за сердце. Пил капли.

— Я только что из сумасшедшего дома.

Нехорошее предчувствие коснулось меня. «Уже?» — хотел я спросить, но сдержался.

— Знаешь, кого туда отвезли?

Назвал имя женщины. Мне стало не по себе.

— Да. Представь себе... Правда, по ошибке. Но важен сам факт.

— Этого следовало ожидать, — сказал я убито.

— Кто бы мог подумать, что он такой роковой мужчина? Надо будет сходить с ним в баню, посмотреть, в чем там дело.

Потом он философствовал:

— Но я ее понимаю. Нарушена гармония — и нельзя больше жить. Она поэтесса, и это понятно. Поэт всегда так: все или ничего! Цельная натура! Правда, «когда не требует поэта к священной жертве», тогда, конечно, другое дело. Тогда он поступает, как дерьмо. Это естественно: «средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Или она. Но я ею не восхищаюсь. Более того — осуждаю... Тем не менее, я ее понимаю.

— Кто такая Мэри Пам? Она замечательная женщина, замечательная!.. В ее доме я впервые услышал потрясающую запись Эдит Пиаф. И вообще... Какая-то особая страсть была тогда к коротким фамилиям. Как много их, оказывается, в Одессе! Мэра Пам, Таня Шмуц, Даня Шац, Хина Члек, Пиня Рэй, Моня Карп, Леня Мак, Эдик Кац, Марик Буц, Шая Поц, Беня Крик, Коля Вак, Гарик Пак, Пуся Бенц (как видно, Мерседес). Боже мой, сколько их! Куда их гонят? Куда гонят этих *усеченных фамилий?*

Как-то сидел я, весь в грустях, опустив ноги в чемодан с рукописями.

Бумаги давно жили друг с другом, роились. Выцветали чернила, и за ними требовался уход, им хотелось воздуха, внимания. Они лежали все вместе, в непозволительной связи друг с другом. Вытащить все это, перетряхнуть, омыть слезами. Воздать им должное, показать миру. А что стесняться, в самом деле? Ведь это были стихи, поэмы, романы, мысли, эссе! Ведь это черт знает... Таким Николаем Васильевичем Гоголем чувствуешь порой себя, что... не знаешь, право, что и подумать. Просто черт знает, что такое. Вытащу, вытащу их на свет божий, и да станет сокровеное откровенным!

И пришел Гриша, и спросил, естественно:

— Принимаешь ножные ванны?

Как прекрасно, как хорошо спросил!

В самом деле, я глубоко погрузил ноги в тюрьму своего чемодана, где жили, роились, мечтали, любили и плакали мои произведения. Где им было тепло.

Приходя в гости, он принюхивался, не пахнет ли падалью, не пухнет ли кто, нет ли ссоры. Если нет, то почему?

Ссоры не было, и он чувствовал себя неуютно. Но очень скоро приободрялся и находил способ некоторую ссорку, этакий неприятный разговорчик спровоцировать. Тут уже дышал полной грудью, обретал себя. Ронялись маленькие советы, недомолвочки, расковыривались подсохшие было прыщики и корочки крошечных недоразумений. И дело было в шляпе — вечер не был потерян. Но если это не удавалось, неудовольствия скрыть почти не мог. Засунуть палец в рану друга, подержать его там, полечить, услышав исповедь, — вот чего жаждала его душа. А то и два пальца. Но лучше всего — всю руку.

Любил, прежде чем постучать, постоять у дверей. Прислушаться. Следил за движением шторки в окне. Ловил шаги хозяина. Хотелось знать заранее, в каком расположении. Чтоб уже наверняка...

Часто заставал его у дверей, ждущего чего-то. И пугался. Зачем это ему нужно, ночью? Но открывал, приглашал войти. Смотрел на меня деланно-испуганными глазами, отшатывался, входил. Старался заглянуть за спину. Становилось от этого не по себе.

Однажды пришел ночью, но не постучал; ждал, прислушивался: говорили о нем. Лучше б уже вошел сразу, потому что говорили гадости... И жить было страшно.

Был у нас как-то с Пиратычем разговор по душам:

— Ну, что, Диабетыч, — спросил я его интимно,— пишешь?

— Так, кое-что, ерунда какая-то.

— Нет, в самом деле, делаешь что-то?

Признался:

— Вот. Написал вчера ночью семьдесят два стиха. А прочесть некогда. Представляешь? Чуть концы не отдал.

— Да-а...

Я не знал, что сказать.

«Нет, — решил я, — не так нужно. Иначе надо пробовать». Однажды спросил:

— Ну вот, скажи, Савельич, что ты оставишь после себя, кроме кучи дерьма? (Грубо, старик. Что делать?.. Зато правдиво.)

Пиратыч забеспокоился.

— Кто так спрашивает?

Не верил, что это я задал вопрос. Пришлось сознаться:

— Это Гриша так спросил меня. Однажды.

— Дурак твой Гриша, — буркнул он.

Но над вопросом задумался.

Вообще, любил поговорить о вечности. Падок был на высокое. Спросил его как-то:

— Ну, что сделал для вечности?

Вопрос был глобальным, к шутке не располагал — как ни странно.

— Для вечности? — тяжело вздохнул. — Да-а... Вот это вопрос! — его передернуло. — Вопросец, знаешь ли... Надо подумать. Собраться.

Но скоро раскусил подвох. Бычком обжигаясь, сказал, едко прищурившись:

— А я ей не должен. Ну ее на фиг, вечность.

С тех пор долго ко мне не приходил.

Встречаю его, а он — худ, сед, дряхл. Как бы тайные пороки избороздили лик. Видно, сильный был перебор в художнической келье.

Все смешалось: истовость пророка и опасный блеск душевнобольного, что-то алкогольно-духовное, что-то от всеобщей вины и непосильной ноши, какая-то помесь кликушеского задора и последнего издыхания («белок устал»).

Показать это издыхание умел мастерски. Как никто... Однажды публично мучился от зубной боли, рычал, вскакивал, обнажал клыки, напрягал череп, истово сверкал очами, корчился, поджимая ноги, болел.

— Ты так страдаешь, — сказал Шурик, — как дай бог другим жить.

И Дублоныч перестал, успокоился. Шурик его дисциплинировал.

— Распустились мы, Фима, вот в чем наша беда, — признался он мне, уходя.

Встречаю его, истерзанного прозрениями и систематическим несоблюдением режима сна и питания.

— Скверно выглядишь.

— В самом деле? — он оживился. — Понимаешь, работаю на уничтожение. Уже не первый год... Ты заметил, что мы все друг к другу плохо относимся? Это потому, что мы все глубоко сидим в одном общем сортире. Всем темно. Да и запах, сам понимаешь... Как же тут не поссориться?

Глава 7.
Наступила осень

Наступала осень. По утрам он стал выходить на работу.

Была масса визитов. Всем надо было помочь. Посоветовать. Всех предупредить. Всех остеречь. Всем было плохо. Все нуждались. И это мешало жить.

— А этот Николай со своей медведицей? Со своим бродячим шапито? Тоже несчастье. Надо ему добыть ангажемент. Не больше не меньше! А я могу? Откуда?! Но я берусь. Берусь, ибо человек в беде... Хорошо, а Хаим? Хаим не в беде? Он вообще меня замучил. Боже, какой он нелепый... Какие мы все трагические и нелепые! И Шуревич трагический. И я, и Николай, и ты тоже — трагический и нелепый. Все — трагические и нелепые. Не знаешь, к кому идти раньше. (Я тоже, между нами говоря, в беде. Что из этого? Себе не поможешь.)

— А Салтыков-Щедрин? — спросил я нагло и невпопад.

— Салтыков тоже трагический. Но не нелепый... Боже! Что будет? (Впрочем, это твой вопрос. Извини...) Тут еще брат двоюродный. Без квартиры. Надо помочь... А еще приходила Тая. Непонятно только, зачем. Выкурила девять сигарет и ушла. Шатаясь. Ей тоже надо помочь, хотя она не просила. Я знаю, надо. А как?.. Голова идет кругом. Вообще, у меня масса дел. Я стал деловым человеком. Меня вынуждают. Так что... Сам понимаешь. Спешу. Пока!

Зависть терзала меня. Вот, у человека есть дело.

— Не забудь сходить к Лангеру! — крикнул я ему вслед. — Он посоветует, что к чему.

Дождь припустил сильнее.

Я тоже любил приходить к нему неожиданно и поздно. Двор спал. Потело большое дерево, роняя с ог-

ромной высоты пот и росу. В окнах Степаныча светился китайский фонарь. Там жили. В щелях был свет. Я подбирался к окнам, осторожно, боясь спугнуть самого себя, и — грешным делом — приникал к щелочке: видел клеенчатый угол стола, заваленный бумагами, грозное чело и опущенные вниз, под стол, глаза... Не иначе: читает драмы Сухово-Кобылина. Так казалось мне почему-то.

Я оборачивался: в спину меня в упор расстреливал черный, насыщенный влагой двор и темный подъезд. На крышах бесшумно лопался туман, кошачий хвост торчал из трубы, слабо помешивая мутное небо Привоза.

Я посмотрел в щель и тихо поскребся. Метнулась тень: Олежек бесшумно взлетал с дивана, как с насеста, и подпархивал к двери, весь в белье. Вопросительно смотрел на меня сквозь стекло, как утопленник. Не удивлялся. Отпирал, делал в кальсонах книксен — и впускал в переднюю, хотя было уже непозволительно поздно.

— Не поздно?.. — глупо спрашивал я. — Я на минуту. (Извиняясь.)

— Закурим? — спрашивал он, и смущение мое пропадало.

— И дверь прикрой, дует.

— Ты бы накинул что-то, простынешь, — заботился я, благодаря его за то, что не дал мне почувствовать моей неловкости.

Мы молча закуривали. Все-таки он спрашивал:

— Что-нибудь случилось?

— Да нет, так просто. Зашел постоять.

А ведь на самом деле — тяжело было на душе, и очень хотелось облегчиться. Так просто не заходят. Он догадывался, в чем дело, и не расспрашивал.

Иногда я оставался у него ночевать. Стоило только прийти к нему со своим горем, не было человека участливей. Мы рассказывали друг другу всякую всячину: было много смешного, мы хихикали, хватаясь за стены, — освежали мозг и расходились, сделав друг для друга все или почти все, что могли. Порой, когда настроение поднималось, сладко злословили.

Бывали и иные дни.

— Все дело в том, Фима, что мнительный я человек, — говорил Игорёк.

— Все мнительные. И я мнительный. И Шуревич мнительный. Все.

— Не скажи. Я совсем особь статья... Понимаешь, застенчивый я. Ты не замечал? Когда прихожу к кому-нибудь в гости, я корчусь. Не умею себя подать. Ты — дело другое. Я тебе завидую. Как-то все у тебя получается легко, элегантно. Как-то артистично. А я чувствую себя калекой. Хотя понимаю больше тебя. Но я не умею себя подать, не умею свободно двигаться. Как ты, например. Это талант. Да, талант. Здесь ничего не поделаешь.

— Да брось ты. Нормально двигаешься. Я бы сказал, своеобразно.

— Вот именно. Руки маленькие, голова большая — ну что это такое?

И он махнул на себя рукой. Тогда я почувствовал себя преступником. Решил уравновесить шансы.

— А ты заметил, что у меня странная походка? Какая-то припрыгивающая, как у журавля? И странная манера смеяться. И вообще, я очень часто похож на дефективного, в своем роде. Прибавь сюда комплексы... Вот видишь. А ты говоришь... И потом: ты представить себе не можешь, каких усилий стоит мне удержаться от того, чтобы не ковырять в носу.

— Брось, брось. От того, что ты рассказываешь, мне становится еще хуже. Неужели ты этого не понимаешь? Я начинаю вспоминать всех, кого я знаю.

...Была осень, листва созрела, как виноград, балконы висели без опор — воздух, пронзительно ясный, нес дома, кварталы: они парили в воздухе, в воде небес, как опрокинутая Венеция. Гроздья ржавой листвы тяжело висели на крышах. Небо синело, как на полотнах старых мастеров, чуть выцветшее, — и было бессмертным, нетленным. Высоким до слез.

Золото было везде. Синь и золото. Лето созрело и начало опадать. Осень была на подхвате.

— Вера нужна, вера, — говорил мне Сурепыч, — иначе смерть.

Мы гуляли по знаменитой улице, на Молдаванке.

— Вырваться, вырваться надо. Или вырвать. Что-нибудь одно. Тошнит — понимаешь? Душа гниет. (Он говорит искренне.) Нет опоры. Ни в чем. И я скатываюсь. Я мог бы остановиться в любой момент, — но тут же спрашиваю себя: зачем? Во имя чего? Чего во имя?? Нет. Никакого другого выхода я не вижу. Надо удирать... Но опять же, новая загвоздка. Ты знаешь, о чем я говорю... Почти неразрешимая задача. Почти.

— Во всем виноват Дукер. Хотя и был замечательным человеком... Это он сделал нас высокопарными болтунами. Я уже тогда чувствовал это, еще в десятом классе. Потом я стал находить порочную прелесть в словоблудии. Кажется, вкусил этого много. А может, еще недостаточно?

— *Еще* недостаточно?

— Ну, не знаю... Надо подумать.

— Кругом распад. Коррозия. Гниль. Нет личности... Кто, хотел бы я знать? Рихтер личность? Гриша личность? Рихтер не совсем личность. Он — почти. И Гриша — почти. Никто не дотягивает. Чтобы быть личностью, нужна вера. Вера.

— Нужны строчки («штрочки», как говаривал Толя Медузов). Продукция. Вот что нужно... Покажи ее. Покажи продукцию — посмотрим.

— Чушь! Чушь собачья! У тебя узкий взгляд на вещи. Зачем мне продукция? Может быть, я гений в душе? И никто этого не знает. Я сам этого не знаю.

— Вот именно. Пиши — и твои сомнения рассеются. Реализуй в конце концов себя и свои сомнения. А?

— Ну что ж, пожалуй... А ты? Покажи ты.

— Что тебе показать?

— Да нет, я не об этом... Покажи стихи.

— А я — что? Я не собираюсь...

— Что?!! Скажешь, что ты не претендуешь? Врешь.

— Хорошо. Тогда покажи ты сначала.

— Нет, сначала ты.

Мы стали торговаться.

Однажды пришел ко мне совершенно сраженный усталостью. И вообще...

— Слыхал? Издан указ.

— Какой указ?

— Указ о запрещении использовать в работах произведения зарубежных психологов.

— В каких работах?! Черт знает что.

— Если ты не понимаешь, в каких работах, о чем же тогда с тобой говорить?

— Я не понимаю, как могут бояться указа те, кто ничего не делает.

— Я делаю. И потом, не обо мне речь. Работы будут. Они уже есть.

— Покажи.

Опять, опять это слово!

— В свое время. Лучше скажи, кто это напечатает? Прав Юра: сжечь все, уничтожить... Или утопить в дерьме. Как Рихтер... Он просто не знал, что с ними делать, со своими рассказами. Они душили его... Нет, все равно, нужна вера. И нужна любовь... Мне, например, нужна женщина. С комплексами. Она меня поймет... Нужно, чтобы меня поняли, погладили. Пригреться нужно... А потом, нужно работать. Мы не умеем работать... — золотые слова. — Кстати, Люда с комплексами? Тебе повезло.

Меня понесло:

— По-моему, Гриша расходится... — я лгал, я не мог остановиться. — Да. По-моему.

Пак оживился:

— Гриша расходится, — это что-то новое! не может быть. Это интересно. Интересно, интересно. А вообще — правильно. Мне их брак тоже не нравится. Но он как будто прочен. Странно. Да, это новость! Ну, я пошел.

Я похолодел. Что, если он пойдет и всем расскажет? Очень даже может статься. Что тогда?

— Конечно, это так... еще неопределенно. Но... кое-какие симптомы, кажется, имеются. Впрочем... все это одни догадки. По-моему... (фу, как стыдно. Я пошел на попятную. Зачем?) — В общем, чушь. Не бери в голову... Слушай, у тебя моя книга «Свет мира» Лакснесса?

Кое-как тему замяли.

Глава 8.
Грустные вещи

А вообще он часто рассказывал грустные вещи:

— Нет ни минуты покоя. Невозможно сосредоточиться. Наш двор живет с утра до ночи большой жизнью. Это какой-то кошмар... С утра начинают бабы. Им всегда есть что сказать друг другу. Кончили бабы — начали дети. Потом — коты... А собаки! У нас шестнадцать собак в доме. Шестнадцать!! Одну украли... А наша уборная? О вони я уже не говорю. Прут все — и свои, и посторонние. С Привоза. Представляешь? Идут и просят ключ. Ты же сам видел. И я даю. А наша Люба? Вот смотри: Люба грядет! (бабенция страшных габаритов двинулась, направляясь в уборную...) Страшных-Габаритов — интересная фамилия, правда? Но дело не в этом. Вот она идет. «Я пошла», — говорит она громко, оповещая всех... И, конечно, с утра мат. Просто так, ни к кому не обращаясь. Якобы. Но обязательно кто-то отзовется: «Ты, курва кривоногая!» — «Это ты мне?» — «А то кому же, конечно, тебе». И поехало... А однажды соседка сверху вылила соседке снизу на голову горшок горячей утренней мочи. Как бы случайно. И скрылась за досками. Ну, та, конечно, догадалась, о чем говорить. И отомстила. Как — это неважно... Конечно, бездна интересных типов. Но ведь и с ума тоже можно сойти... Кто это идет? Надо спрятаться, это ко мне. Опять этот странный тип. Мы с ним пили однажды — он меня забыть не может. Меня нет.

Диабетыч прятался. Гость долго не верил, но потом уходил.

— Кто это был у тебя вчера? Муразян? Странно. Зачем ты пускаешь к себе этого поца? Муразян — поц. Неужели ты этого не заметил? Он 14 лет пишет свой роман, но никому его не показывает. Тебе это ни о чем не

говорит? Наконец, у него много слюны во рту и слишком обкатанная лысина. Он сыт и жизнерадостен. И слишком работоспособен. Как все судаки. Я бы не стал с ним говорить... Да, и большая к тебе просьба: никогда не приходи ко мне с Юрой. Он мне надоел. Я сам болен. И Рэя не надо. Пусть живет отдельно. Никого не надо. Никого. Никого.

Потом он сказал:

— Я, к сожалению, не художник, нет. Все дело в том, что мое рацио разрушает мое интуицио. Я слишком умен для того, чтобы быть художником... Ничего не поделаешь. Надо отдать себе в этом отчет. И должное.

И еще:

— К сожалению, многое из того, что нас окружает, действует на нас губительно. Я могу сказать о себе. Но это не значит, что я говорю только о себе. Отнюдь. Я говорю о нас всех. О многих. Из нас... Я знаю, нас ждет ряд неотвратимых бед. Я редко ошибаюсь. Я мог бы их перечислить. Но это тяжело... и скучно. Впрочем, если хочешь, — пожалуйста. Многое из этого я уже прошел, и знаю. Я не говорю об общем, так сказать, духе времени. Нет. Я имею в виду другое: наши завихрения. Мучительные самокопания. Хиромантию. Столоверчение. Словоблудие. Нечистую совесть. Онанизм (совместный). Демонизм (в масштабе квартала).

Душевный запой. Какой-то пар... вернее — паралич воли. А результат — вот он: загубленный артистизм, голос, севший на мель, слабо тренированные десна, запущенный сад души. Усталость. Тоска. Поседение, дряхлость, запоры, любовные неудачи, дрязги, закат — полный звездец... Вот, примерно, то, что я хотел сказать. Но... Если это осознать, так сказать, за-ра-не-е, то... То еще неизвестно, как все может обернуться. Можно еще проскочить. Будь здрав.

— Пойми, — уговаривал он меня, — с людьми лицемерить надо. Обязательно. Иначе пропадешь. Простачков, как правило, надувают. И правильно. Я, например, никому не верю. Никому. Все окружающие яс-

но кто — подонки. Хочешь совет? На всякий случай, встречаясь с человеком, думай, что он дерьмо. Не ошибешься. Предполагай заранее, что он поц. Тем приятней тебе будет убедиться в обратном. Ты понял? Только так. А как же иначе?.. Я, например, когда разговариваю с людьми, никогда себя не выдаю. И почти всегда им подмахиваю. Интересно же посмотреть, как человек раскроется. Он раскрывается, а я начеку! Но это нелегко. Тут нужен тренаж. А главное, выдержать ту вонь, которой несет от очередного собеседника.

— Да-а... Ну, а если он тоже начеку? И тоже тебе подмахивает? Чтоб ты раскрылся. Тогда что?

— Ну, тогда вообще надо повеситься. Тогда жить не стоит. Выходит, что никому верить нельзя?

Он уже обижался.

— А ты как думал? Конечно, нельзя.

— Боже! Значит, я прав. Нет, не может быть. Тогда жизнь была бы невозможна. Ведь должны же быть на свете доверчивые дураки. Вроде тебя. Тогда и таким умным людям, как я, можно как-то дышать. А ты как думал? Лицемерить, лицемерить надо. Все же лицемерят. Все. И ты лицемеришь. Поэтому надо лгать. Лгать, лгать. Ведь лжешь из самолюбия. Чтоб в дураках не оказаться. А все потому, что люди забыли Бога. Нужна религия. Или искусство. Другого выхода нет. Там лгать нельзя. Иначе человечество загнется. Оно уже загибается... Чаю хочешь?

Нет, нет. Поссориться нам уже невозможно. Не стоит мечтать об этом. Мы слишком друг другу обязаны. Слишком друг другу духовно задолжали.

Было судорожное желание воспитывающе влиять.

«Великий человек располагает не только своим умом, но и умом своих друзей». Вот оно что! Вот что следует учесть. Не только умом, но и чувствами, но и деньгами своих друзей, женами и книгами их. В этом все дело.

Затем: легкости вы не ждите. Все не так просто. «Искусство рождается из стеснения, живет борьбой, умирает от свободы».

Все хорошо. Но есть же какие-то пределы. Так и задохнуться недолго. Этого Андре Жид не учел.

Глава 9.
Эссе о Сократе

Что делать? Что делать?.. Бросьте, бросьте вопрошать. Разве плохие я вам даю советы? разве плохие советы я вам даю? Не мечите икру, не надо. Не мечите икру и бисер, возьмите себя в руки, одумайтесь... прикрывайте, прикрывайте рот рукой, когда чихаете! Это первое. Крепче, крепче душите свою невоспитанность. Это ваши врожденные пороки. Душите их. Это первое... Второе. Никогда не лезьте в лицо с откровенностями. Приходите в гости с *откровениями*. Но только тихо, без шума. Не надо напора. Это только утомляет и мало говорит. Ах, боже мой, не надо метаться, мельтешить, суетиться, становиться в позу, пускать пену — не надо. Надо тихо работать, тихо и неутомимо. Надо смотреть на мир лукаво и добродушно, имея про запас железные кулаки и ярость пророка. Что-то в этом роде... А насчет жала мудрыя змеи — это как у кого. Как бы вам сказать? Известная доля яда вам, конечно, понадобится. Но! Но смирение — не то, которое паче гордости, а великое смирение перед чудом и тайной жизни вам необходимо, как воздух. Смотреть на мир с чистотой ребенка! И это еще не все... А что мы на самом деле имеем? Что, я вас спрашиваю? Что делаем мы заместо того, чтобы кротко работать? Предаем и поедаем друг друга. Мы болтливы и нечистоплотны. Мы забыли, что такое беседовать с природой. Мы недостаточно одиноки для труда, хотя и плачем по ночам от горя. Нам не хватает Печали, — хотя у нас много неприятностей. Только тот, кто знает Печаль, может радоваться искусству... Надо все бросить, надо довериться себе и друг другу, не надо торговаться, — надо попробовать жить. И тогда... Тогда, может быть, что-то получится. Может быть, даже без *может быть*. Просто — получится... Это говорю вам я, старый, усталый писатель, который еще почти ничего не написал, но напишет обязательно.

Был Гриша. Читал мне свое эссе о Сократе. Было интересно.

Я вспомнил: что же я знаю о Сократе? Во-первых, что он старик. Сократ всегда был стариком. Он — старик. Из мрамора. У него пустые глазницы, навыкате. Жирный, лукавый старик. Он болен базедовой болезнью. Плешивый, курносый, с круглым, крутым животом, раздутым, как у китайского божка. В тряпке, босой. Я хорошо помню, что он босой. Где я его видел? В учебнике истории, в детстве.

Вот Демокрит, тот был в сандалиях, на босу ногу. Это я хорошо помню.

Что еще я о нем знаю? Что он философ. Странный, единственный. Гениальный. Еще неизвестно, был ли он, — настолько он странен. Я мог бы спутать его с Диогеном — настолько кажется он мне бездомным. Он — бродяга. Нищий. Очень ехидный, напористый старик. Величайший на свете болтун. Насмешник. Бездельник, гений, хитрец. Вот кто он такой.

И все это из мрамора. Неживое. Вечное.

И тут я узнаю, что он был сыном. Сыном своего века. Неблагодарным сыном матери-Греции. Он оплевал свое время, свой город, свой полис, обвинил в тысячах грехах своих сограждан, прекрасные Афины — покинул свое родовое тело. Нет, не покинул — оседлал его, взнуздал, пришпорил. И въехал на нем, как на белом коне, в будущее. Каково?

Вот, оказывается, что я узнал. Три источника у меня было: Платон, Ксенофонт Афинский и Гриша. У кого их было больше? Хотел бы я знать. Ни у кого.

Он же ничего не написал, этот Сократ. Он только говорил, говорил, говорил. Он отлично прижился бы в Одессе. Или где-нибудь в Крыму. Я узнал, что он отторг от себя, обвинил в косности старое родовое тело — и бежал, декадент паршивый, в другой век. И еще я узнал, что он был великим поэтом, мудрецом, человеком из далекого будущего.

...Ну-ка, поверните ко мне бюст. В самом деле, я не видал более курносых стариков. Неужели это грек? Это же русский мужичок. Хитрый и смеющийся. Лысина. И лоб, о котором говорят, что он *как у Сократа*. И ноздри — великолепные, широкие, разверстые. Я пред-

ставляю себе, как он шумно сморкался. А голос, по-моему, имел божественный. Шуму вод подобный.

И еще я хорошо запомнил: что он выпил знаменитую чашу с цикутой. Он был осужден и умер, оплакиваемый друзьями.

«Он разумен до конца, до ужаса разумен!» — вот в чем его обвинили. Вот в каком грехе он был уличен. Защищайся, Сократ, защищайся! Брось свои шутки. Час суров, и люди неразумны. Не нападай на них, побереги себя в этот раз, один-единственный. Ведь ты для них сатир и козел. Твоя ирония нестерпима. «Посмотрите на этого старикашку: это какая-то карикатура на человека и грека!» И тем не менее, тем не менее... Он смеется. Но это тягостное добродушие. Оказывается, он не шутит. Оказывается, он все говорит всерьез! Вот оно что. Свирепоумный декадент, гениальный клоун, искуситель, болтун. Опасного старика надо было просто убить. И его убили.

Между прочим, казнили его демократы. Потому что демократам от него житья не было. И его укокошили. Свою чашу он выпил до дна... А сейчас мы плачем. И так всегда.

«Кто владеет истиной, тот прикрывается, а не доказывает». Так ли это? Я всегда думал, что это так. Что владеющий истиной набрасывает защитный флер, обволакивает туманом, шутит... Оказывается, это не так.

Но никто так больше не сможет, никто. Опьяняюща его мудрость — вот что я вам скажу. Старое крепкое вино, еще не разлитое по бокалам. И слава Богу, слава Богу. Все еще впереди.

Глава 10.
Эммануил Семенович. Выход

На улице я встретил старого математика-предметника Ройхмана. Эммануил Семенович козликом шел на ветер, бодал его старой головой, ныряя под ветер и кланяясь прохожим, просил прощения. Иногда подходил к кому-нибудь и спрашивал:

— Я вас не оскорбил? Нет? Я вчера был некоторым образом пьян.

И шел дальше. Шарф, весь в перфорациях, пел на ветру. Э.С. пускал клубы пара, круто срезал углы, замысловато переходил улицу в недозволенном месте и долго поносил толпу.

Встретил его как-то, в холодный довольно вечер — был ноябрь. Он остановился. В руках крепко держал две книги: «Опыты» Монтеня и учебник алгебры Киселева. Ароматно попахивал алкоголем. Посмотрел на меня поверх очков, мгновенно узнал:

— Кого я вижу? Товарищ Фима! Что скажете, молодой человек? — продолжая бодаться.

— Эммануил Семенович! Вы? Здравствуйте. Я рад...

— Я рад, что вы рады. Где служите?.. Молодец. Я тоже бросил. Скажу вам откровенно, они мне все порядком осточертели. Как, впрочем, и вам. Нет? Ну, вот видите. Хотите свежий анекдот?

И он рассказывал.

— Ну что, по стаканчику? Я на редкость поиздержался сегодня, но вас угощу. Хотите?

Я отказываюсь.

— Как хотите... Между прочим, напрасно. Стаканчик смеси не помешал бы. Подумайте... Что это за юное создание я видел рядом с вами недавно? Очень миленькая девочка. Правда? Фимочка, когда вы женитесь? Хотя... Правильно. Все бабы... эти... Скажу это вам, как родному. Будьте свободны. Не верьте нико-

му... А как поживает ваш друг? Этот, седой? Мне с ним было крайне интересно беседовать... Хотите я вам спою «Хорст Вессель»? Бесплатно. Как любителю. А? Пойдемте в подворотню. Вообще, я пою за стаканом вина... Скажу вам честно, Фима: я е... эту общественность. Впрочем, она со мной тоже не церемонится. Как видите. Так что, мы квиты... Я вам рассказывал свою историю? Нет? О том, как я обмочил профсобрание. Не может быть. Вы должны это знать. Вы знаете, я вам скажу откровенно: я был тогда в здравом уме. И в твердой памяти. Не так уж я напился, как утверждают. И хорошо знал, что я делаю. Я их не боюсь. Я плевал на их поганые рожи! Подонки. Посмотрели бы вы на их лица. Я рассчитался с ними сполна. Меня, правда, тут же уволили, но я ликовал. Впрочем, это прошлое... Какие у вас новации?.. Н-да. Не густо. Ну, ладно... Купите Монтеня. Книга в отличном состоянии. И недорого. Всего три рубля. Берете?

В малом зале душного, тесного кинотеатра воняло туалетом, цирковыми опилками, застарелой мочой. (Игорёк поправил: «Вставь тут — мочой престарелых. Так будет лучше».) Шел и рвался на ходу старый фильм — странный, непонятный, полунемой. Может быть, даже хороший. Но сейчас хотелось выйти.

Выйти было непросто. Над дверью, во тьме горело красное слово ВЫХОД. Но если ткнуться, наткнешься на туго запертую снаружи дверь. Чтоб народ не расходился. Чтоб досмотрел. По сути, выхода не было.

Выход был. Выход был в детстве. В детстве был выход в океан. Надо только вернуться. Броситься вплавь. Р-раз — и в воду! В грозную шипящую пену — бултых — с головой — и поплыли...

Вот оно — м о р е. Понт Евксинский.

— Ах, Черное море — вор на воре!..

Ветер, ветер должен ударить в лицо. Море, а там Босфор — синий, как на детской картинке — и Дарданеллы.

Ветер Австралии обвевает субтропики Черноморья. Мальчики, которым по четырнадцать, грезят Монтесумой индейцами, капитаном Куком, островами, пряными запахами колониальных товаров, пиратами,

смуглым Робинзоном, далекими странами с загадочными названиями, отважными капитанами над картами морских течений.

...Вспомнил лето 1951-го. Мне 16. Я перешел в десятый. Нестерпимо тянуло уехать.

Дрожало марево пляжей. Далекое золото скал Лузановки обещало захватывающий грудь холодок путешествия. Горячие водоросли разметались на берегу, лечебная грязь лиманов сохла и трескалась, как старинные фрески, на солнцепеке.

Нестерпимое зловоние мертвых мидий оставалось внизу.

Я поднимался вверх — запущенный мальчишками воздушный змей. Дыбом вставали на мне волосы от терпкого морского ветра. Па-а-летели!..

Я писал тогда тяжелые, душные стихи о любви. И погибал от возвышенной страсти — и плотских желаний. Одно почему-то всегда исключало другое. Наверно, это было плохо. Но это было так. Я хотел и того, и другого. Неба и хлеба. И это было ужасно.

Прощай, кораблик! Плыви один. Я тут останусь. Я останусь там, где живет девочка в соседнем дворе. Пока. Покедова!

И потом — женщины. Их было чересчур много на юге. Больше, чем везде. Они так и кишели. Особенно на пляжах. Смуглые руки закинув, обнажая гущу подмышек, тяжелые губы подставив солнцу, лежали, смежив глаза, на песке, — и дурманящий запах их плоти кружил мне голову. Хотелось схватить их железной хваткой — за щиколотки: не просто прикоснуться, а взять их, как рабынь. Но даже подойти, подползти было трудно, почти невозможно. Голодный волчонок шалыми глазами пожирал грациозную лань, идущую к водопою...

Невыносимо, невыполнимо! Билось, подбрасывая песок, сердце.

Приходили уверенные, длиннорукие, как орангутанги, мужчины. Их-то ничто не заботило. И развратным ртом смеялась комсомолка. Сволочь, сволочь!

...Потом все проходило, омывалось прохладным морским рассолом. Пляжи пустели, надвигались закат и ветер. Была острая зависть и тоска.

А утром лето начиналось снова. Великое лето 1952-го. Кончались экзамены. Кругом — пчелиное гудение страшного лета, бабочки облетали мою голову, кровь яростно неслась сквозь вены, выметая соль из закоулков; они взбухали и опадали, как морской прилив.

Потом был Крым. Теплая палуба, качающаяся под звездами, скрипит и пахнет морем. Ветер то тушит, то возжигает звезды. Со лба моего улетает пена.

Бриз остужал мою голову. Хотелось бессмертной любви, подвига, поэтической славы. Я плакал.

Глава 11.
Бурная переоценка

Тихо, расскажи все по порядку. Значит, так...

Все началось на кухне. Кровавые огрызки колбасы напомнили впечатлительному мальчику камеру пыток. Потом — тесто. Тесто росло на глазах, как зоб; оно лопалось, вздыхало, пукало, ерзало по духовке, пока не достигло горячего потолка. Тогда оно пустило слезу и сразу изжарилось. Вкусно пахло коржиками с семитатью. Пейсах уже летал над еврейской кухней. Праздник витал над городом.

Кошка давилась в углу, никто не помог ей. Она знала, что никто не поможет, и стойко пыталась проглотить еще живую, ребрастую рыбу.

Мама в переднике, запачканном рыбными кишками, била в кастрюли, как в литавры. Наступал час обеда. Мальчик слушал колокольный звон. «Ты слышишь звон гусиного набата, Николай?» — хотелось ему спросить. Кого? Зачем? Никто ничего не знал. Не было никакого Николая. Мир был странен.

Раздался стон или плач, какой-то почти человеческий. Толя дико скосил глаза: в углу рыба медленно заглатывала мокрую от пота и страха кошку. Так начался его испуг. Его внимание к себе.

Потом пришел Дима Мильнер.

По Преображенской кротовито-шелудиво полз вечер.

Ночью появился Модест Павлович. Он был в комнатных чувяках, в пледике внакидку, тихий. Тронул спящее толино плечо.

Толя повернулся медленно, как торпеда. Надел очки. Спросил:

— Что скажете?

— Извините... Я пришел посидеть. Там дождь.

Он указал на окно.

— Сидите. Вы мне не мешаете, — сказал Толя. — Котлеты на кухне.

И повернулся к стене.

— Спасибо.

Гость сел в кресло и задремал. «Этот Модест ко мне привязался», — подумал Толя и быстро заснул.

Толя решил все изменить. Решил все сменить: друзей, белье, знакомых. Шла бурная переоценка:

— Я малоподвижен. Надо двигаться. Всем телом. Надо убрать вес. Перестать сочинять. Пусть этим занимается другой кто-нибудь. Фима. Или Игорь. Кому нечего делать другого... С работой — всё. Кранты. Пора взяться за батю. Я даю ему в последнее время обильную пищу для его размышлений. Ничего, пусть привыкает. Я ему не враг. Но я хочу жить. И потом — я должен рассчитаться. (Не надо меня перебивать!) Завтра же разобью стекло в отделе кадров. Спущу с лестницы главного инженера. Заставлю подписать мне заявление. Все это скучно. Эти коридоры ведут куда-то не туда. Везде мне мерещатся задние проходы. Душно, темно, волосато. Каждый день учреждение пердит. Ровно в пять часов оно выбрасывает нас в город. На что надеются эти суки из конторы?

Он только что поел. Ковыряя в зубах большим пальцем, выплевывал мясо, брезгливо читал повестку. Его куда-то приглашали. Куда-то звали. Кажется, в суд. Зачем-то. Почему-то. Кто-то. Черт знает кто. Или это за зелень? Или за ту стычку с типом того знакомого незнакомца, с шарфом... А? Нет, это другое. Он бросил бумажку на стол. Красногубо улыбнулся.

— Ты видишь, Фима, как все стало выходить? Повестка в суд, туда, сюда. Мансы. Мне же — глубоко безразлично. Как и повсюду. Нет, меня это не колышет. Другое занимает мой ум. Ты понял? Как и всех. Что будем делать? По-моему, надо увидеть Лангера. Это первое. Он обещал мне фанеру. Дело в том, что я решил выточить из нее два треугольника...

— ?!

— Один я подарю Сереже Лиману. Обещал. Другой оставлю себе. Для нужд. Это так, пока. Пусть лежит. Как

тебе известно, я все делаю медленно, и она созреет. На всякий случай. Это первое... Потом я займусь пилой. Это меня избавит от бед. На первых порах... А к писателю Львову я не пойду. Он из профессионалов. Это меня к нему влечет. И одновременно отталкивает. Но я решил застраховаться. Я понесу ему моего «Модеста», когда стемнеет. Я хорошо вижу в темноте. Так видит не всякий. Как ты думаешь, есть смысл нести к нему моего «Модеста»? Он будет в состоянии? По-моему, риск мнимый. Я только об одном боюсь: что я не сумею скрыть того, что я о нем думаю. Это меня немного смущает. Но это тот крен, который я преодолею.

Толя аккуратно запеленал рукопись, и, когда показались первые звезды, мы вышли.

Плыл в радужных нефтяных разводах, в слезах фонарей город. В проводах прыгали сумасшедшие макаки — семафоры-мигалки. В сумерках прошел дождь, город пролился неоновым рекламным светом, отражался в лужах, скользил, рос куда-то в сторону, как в кривом зеркале.

Проносились в капюшончиках знакомые. Пробегал Ветров (Игорёк), Рэй (Петушок), Лихтер (Шурок)... Ах, многие, многие там были!

Олежек в зеленой широкополой шляпе, видавшей виды, прикуривал на ветру у теплого ханыги по имени Серж. Тот моргал гнойными глазками и пытался спросить:

— З-за ско... з-за ско... з-за скоко... купил...

Ветер гасил спички.

— Я гврю... за с-скока к-купил... шляпу?..

Ветер пронизывал обоих. Олежек жадно и с отвращением вдохнул перегар изо рта Сержа и сказал:

— Извини, друг — дела! Пока, — и, пряча ледяные пальчики в карманах пальто, лег на ветер.

Дождь понес его дальше. На углу его остановил задумчивый отец Лунца. Это было некстати. Стареющим Жаном Габеном представился он. «Ничего, это ненадолго», — успокоил себя Олег и с участием стал слушать.

«Батя», — нежно подумал Толя, но не подошел. «Как-нибудь они сами», — решил он. Батя с интересом себя слушал. Олежек тоже. Собеседник брал его в плен.

— Как вы думаете, это для него выгодно? Нет? Почему? Вы видели его рисунки? Вам они нравятся? Мне они нравятся. По-моему, это хорошо. А по-вашему? Нет? Почему? Я так и думал. А что вы на это скажете?.. — и последовал обстоятельный рассказ о толиной работе. — Надо на него повлиять, — закончил отец и сразу ушел.

Олежек полетел дальше. Пальто его изрешетили звезды. (Мы с Толей все это видели.) Пролетая над неоновой лужей, он говорил:

— Я бы хотел повидаться с одним из братьев Стругацких. В крайнем случае, с обоими. Мне по душе тот общий язык, который они между собой находят. Потом — я их проверю на кипятке...

Глава 12.
Спина захолустного Антиноя

С Дюльфаном я встретился у Аркаши.

— Бенемунес, Аркаша, ты меня обижаешь. Ты меня не понял. Я не швыряюсь хорошей живописью. Наоборот. Я умею ценить. Но между прочим, тут я не вижу ничего *такого*. Эти американцы неплохо рисуют. Они умеют придумать. Но, откровенно говоря, эти работы меня не харят. Грубо? Зато правдиво. Ты понял? Это можно смотреть, а можно и не смотреть. Зачем же тогда это? (Кстати, ты ешь сыр? Аристокроц! Впрочем... Рюмки сметаны мне достаточно. Спасибо.) Да, так на чем это мы?.. Ты понимаешь, это все годится для сортира. В крайнем случае, для «Экспо-73». Но не более. Ну, все, я себя утомил... Ты идешь? Я иду.

(Слушай, у вас отличный сыр. Между прочим.) Мне, например, нравится Леонардо. Но ближе всех мне Люсьен Дюльфан. Тебе нравится Бердслей. Твое дело. Как рассуждает Прик? Он ставит себя на пятое место — после Леонардо, Шагала, Рембранта и Рихтера. Пятый — Прик! Я так не говорю. Стрельников себя имеет на седьмом месте. Его дело. Это распределение мест мне претит. Надо быть штымпом, чтоб всерьез так поступать. (У вас отличная мебель в кухне. У вас стиль.) Фима, ты идешь? Я иду... Посмотри, Аркаша, у тебя отличный двор. Именно потому, что он воняет. Именно поэтому. Прекрасные окна, редкий пролет. Я уже не говорю о графике, но как это ложится в живопись! А этот беспризорный кот с разорванным горлом? Шик... Викентий? Кто такой Викентий? Ах! Са-зо-нов. Витя. Да, да. Тихий такой блондин в разбойничьих очках? Знаю. Но ведь он погиб в Средней Азии! Нет? Вернулся? Значит, его не засосали пески Кара-Кум. Я рад. Хороший он человек. Хотя и... Ну, пока.

Мы вышли.

— Послушай, Фима. Ты, говорят, бываешь в Новокузнецке? У меня там знакомый поэт — некий Пилипенко. Из старых одесситов. Поэт он слабый, но теплый человек. Я ему обязан. Мои родители ему обязаны. Ты мог бы отвезти ему вязочку свежих бычков? Тебе можно доверить? Или ты сожрешь их в сыром виде в первой же подворотне? А? Тогда не надо. Бычки оставим. Но полкило соленой рыбы ты бы мог? Тоже нет? Ну, тогда иди... Грубо? Зато правдиво. Не обижайся... Будь здоров, приходи в мой подвал. Увидишь работы Люсьена Тюльпана. Это не так плохо, как кажется... Бенемунес, этот Аркаша меня удивил. Ну, будь здоров. Шурику я передам.

И художник растворился в анилиновой толпе.

Я поехал к Грише. Он встретил меня по обыкновению: в трусах. (Однажды я позвонил к нему. За дверью произошло движение. Когда мне открыли, я заметил, как в соседнюю полуоткрытую дверь метнулся Гриша, на ходу снимая брюки. И вышел в своей привычной форме: в исподнем.) Сейчас суетиться не нужно было. Он давно был без штанов, в доме были гости.

Из похожих друг на друга, как две капли воды, репродукторов «Вега» несся хорал Баха. Гриша приглашал к музыке. Отказаться было невозможно. Я присел. Все слушали, опустив низко головы. Мы все были виноваты перед великим органистом. Ибо мы понимали, как низок духовный статус XX века по сравнению с временами звучащей над нами органной литургии... Да, это было так. Мы чувствовали непривычную высокость того, что звучало. Высокость Того, Кто эту музыку нам ниспослал. И это было прекрасно. И потому почти невыносимо.

Черешня сгорбился и с ужасом смотрел на свое расходившееся колено.

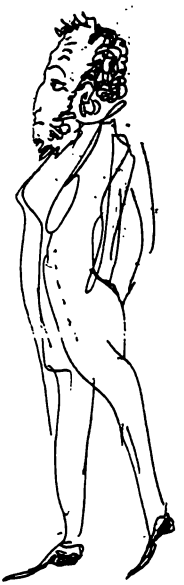
— Миша, прекрати это членотрясение!..

Миша перестал. Но ненадолго. Гриша включил вторую часть. Миша забылся. Он ссутулился, сгорбился еще круче, и коленка его заходила.

— Ми-ша!.. — то и дело прерывал его грезы Гирш, и тот приходил в себя. Он повисал на мокрой сигарете и качал головой.

Потом был какой-то разговор:

— ...Спина захолустного Антиноя? Кто это сказал? Мне это нравится. Кто он такой, этот Антиной? По-моему, это известный грек. Герой древности. А? Шурик, ты не знаешь? Этот Антиной не дает мне покоя. «Как спина захолустного Антиноя». Кто это так сказал? Мучительно знакомое имя. А? Ты не знаешь? Я должен знать... — Миша не мог успокоиться, пока не добьется своего.



— Н-ну, ребята, а теперь посмотрим гравюры. Шурик, посмотрим?

Все начали смотреть. Шурик, беспощадно зажав зубами окурок, что-то сказал. Что-то касательно гравюр.

— Шурик, все это уже было, — заметил Миша. Безмерная тысячелетняя усталость затаилась в его спине. — Было, было. Все было.

— Черешни еще не было, — поддразнивал его Шура.

— Неправда. Я был. В моей первой жизни. В четырнадцатом веке. В испанских колониях. На Кордильерах. Меня тогда зарезали. Как еврея. Но я был. Меня помнят историки. Так что... как видишь...

— Да, возможно, ты тогда был. Но тогда ты не был таким поцом. И тут разница.

— Возможно, — сказал Миша покорно и сутуло и задумался.

Хорал продолжался.

...На высокой шее сидел красивый череп араба. Прекрасные, широко отверстые глаза великолепно смотрели. Это был брат Миши. Он писал стихи, повитые петербургским туманом.

Гриша обносил всех холодной водой из-под крана, в граненых бокалах, и шоколадными конфетами. Ира грустно смотрела ему вслед.

Глава 13.
Шахматные курьезы

— А это вы? Привет, привет!! Как поживаете и прочее... У меня дома Олдингтон и Бауэр, вместе. Мы паруемся. Это интересно. А как у вас? По-прежнему темно и так далее? По-моему, надо зажигать фонари. Когда темно. Если нет света. У нас всегда так. А питаться бумагой с водяными знаками. Как это делают в Голландии и прочее... А я уже не курю. Это только отвлекает. И все такое... Я повсюду ищу Рэя. Рэя. Он от меня прячется. А зачем? По-моему, напрасно. Говорят, он уехал и живет на иждивении у двух любительниц поп-арта. Из-под Киева. Это у него само собой выходит. Диаблов говорит, что Рэй ему надоел. А по-моему, зря. У него всегда есть в запасе новые поэмы. Он их пишет, даже не глядя. Это он экономит, экономит (хохочет) электроэнергию. Чтоб не платить по счетчику. Представляете?.. А вообще, все кругом неизвестно. Я ему говорю: «Зачем ты пишешь, зачем?» А он смеется. Странно... Скоро, наверно, везде будут продавать шланги. Чтоб легче было тушить пожары. А откуда, если не продают керосина? Смешно. И все такое... Нигде, никто, никуда.

Юра расшалился.

Был час городского заката. На устах прохожих кипело пиво.

Длинным, изысканным пальцем меня поманил Саша Клингер. Я всегда сдаюсь, когда он меня манит, и иду. Моложавые пикейные жилеты окружали нас, брали в теплое говорливое кольцо. Саша уже не мог говорить только со мной, его разбирали у меня на глазах. Он грустно улыбался мне издалека, обещая аудиенцию в другой раз, и давал знакомым практические советы. Шахматные курьезы висели в воздухе.

— Спасский не потянет.

— А я вам говорю, что Спасский потянет. И даже с избытком.

— Вы не знаете Фишера. У него хватка бульдога. Он ему покажет, как надо вести себя за доской.

— Я не берусь сказать, но на днях там будет жарко.

— Не я буду, если он его не зарежет.

— А по-моему, он еще молодой. Для чемпиона. Тут нужен вес. Нужно образование, наконец. А у него — липа.

— Идите вы все, знаете куда? Вы ни фига не смыслите в Фишере. Сегодня он раздавит любого. Включая Капабланку! И прочих.

Саша вмешался:

— Не хипешитесь, мальчики. Все гораздо сложнее. И проще. Это крупный шахматист и свободный человек. Он ведет себя совершенно правильно, потому что не позволяет из себя делать поца. Он ведет себя как личность, а не как шахматный засранец. Он несомненный фаворит и имеет право диктовать условия. Еще две партии — и он чемпион мира. Ни одна шахматная федерация ему не указ. Ни один вонючий профсоюз на него не в силах повлиять. Он хочет — он играет. Он не хочет — он не играет. В обоих случаях он выиграет. Он *уже* выиграл. Правда, у меня создается впечатление, что Спасский идет ему навстречу. Впрочем, посмотрим, что скажут знатоки завтра. По-моему, дело уже сделано. Это все... — жилеты внимали, благоговея. — Что слышно на Востоке?.. (На каком, он не сказал.)

Друзья загудели. Я стал незаметно уходить. Незаметно для себя. Но Саша заметил. Я вернулся.

— Ты видишь, что делается. Ты мне нужен. («Две кружки пива ставлю, если это не королевский гамбит!..» — «Ты никогда не умел играть в шашки. Ты можешь мне сказать, что такое диагональ? Нет. Тогда зачем ты здесь?..») Но ты мне нужен.

На пляже появился босой Люсик с удочкой.

— Ты уже опять здесь? Почему тебя не жрут сибирские комары? Я вижу, тебе по душе Одесса. Мне тоже. Ну, как поживает наш маленький ингермончик? Покоряет Ленинград? Ну-ну. Он покоритель севера, этот Аркаша. Дай ему бог. Ты меня видишь случайно. Я не здесь. Меня надо искать на даче Ковалевского. Ты был когда-нибудь на даче Ковалевского? Там не воздух —

там сказка! А какие там дыни! Жизнь — а махай. Ну, будь здоров. Не будем мешать твоему загару. Он тебе пригодится зимой. (Я вижу, ты запасливый человек.) Будь здоров. Я принимаю в подвале через месяц. Зай гезинд! Не переутомляйся во время отдыха. Это сведет его на нет. Я ушел.

И Дюльфик скрылся за холмом.

Глава 14.
Толя

Ко мне пришел Толя. Он очень изменился: похорошел и стал как-то легче. Слушать его было приятно. Я предвкушал беседу. Видно было, что он знал, что расспрашивать его будет интересно. Он удобно налег на кресло. Кресло село.

— Жизнь в Курске тебе очень идет, — сказал я, любуясь им.

— Это неизвестно, — уклончиво ответил Толя. — Но в каком-то качестве — да. Там моя работа.

Он поправил очки и посмотрел на меня искоса и боком, как водолаз.

— Как там, вообще, дышится? — спросил я, ставя вопрос неясно и широко, минуя подробности. — Так... в общем.

— Очень приблизительно, — сказал он мне. — Но, вообще — многое зависит от питания. С питанием там иначе, чем тут. Это замечает каждый.

— В смысле — хуже?

— *Даже очень*, — вкусно ответил Толя. — Там у людей совсем другой образ мыслей. Он очень тесно связан с природой их питания. И тут нельзя ничего изменить. Я тебе все расскажу. У меня охота тебе все рассказать по порядку. Сядь. (Я давно сидел...) Понимаешь, Фима, там странный воздух. Он какой-то пустой. В этом воздухе ничего нет. — Он долго смотрел на меня поверх очков и молчал. — Какая-то байда плавает в воздухе — и больше ничего. Ничего! (Пауза.) Я приехал домой и стал сыт от одного воздуха. Сразу, как только я приземлился... Я, конечно, хорошо поел дома. Там я этого делать не привык. Но тут... Я чуть не обожрался. Понимаешь, я сразу съел очень много, — глаза его заблестели. — Отец принес вишни — по полтора рубля кило. Я съел все, что принес отец. Потом я налег на мясо. В Курске очень

плохо с мясом. Я ел, не спуская глаз со следующего блюда. Тебе это понятно... Потом я стал спать. Я ел и спал одновременно... Наконец, я пришел в себя... Но я не жалею. Моя жизнь там имеет свой смысл. Во-первых, работа. Она себя оправдывает. Я там один еврей. Они это очень скоро заметили. И поняли, что со мной теплее. Я их грел, мне было не жалко. Был какой-то обмен, был свой навар... Но там скучно. В этом беда тех мест. Я много стал пить. Дело в том, что там какие-то не те магазины. В них редко что есть. Только водка и коньяк типа «Зверобой». Раз в неделю на улицу выбрасывают мешок вермишели. Все. Среди продуктов там попадаются яйца. Но яйца там тоже какие-то пустые. В них трудно разобраться: где белок и где желток. Желток там бледный, как стенка. Если его не посолить, кажется, что пьешь неизвестно что. Неясно, кого тут винить. Однажды я попробовал там помидоры. По цвету — они как наши. Но когда их кушаешь, они как дождь. Мне стало обидно за себя. И я за себя взялся. Я стал привыкать... Вообще, жители там мало что знают. Они все какие-то, как бы тебе сказать, слегка ёбнутые. И все хромают. Там иногда говорят: человек с припиздью. Так вот, они такие. Беседовать с ними тяжело... Девушки там есть. Этого никто у них не отнимет. Даже наоборот. У меня, например, там есть одна девушка. Она все время поет. Я ее спрашиваю: «Как видно, ты любишь петь?» А она отвечает: «*Очень даже*». Она такая пахучая, как олень. Ее песни стали моей неизбежностью. Вообще, она очень свежая и чистая. Мы гуляем с ней на закате. Это все, что мы делаем. Иногда мы с ней целуемся. Она хорошо пахнет, и мне это по душе... И еще. Там надо уметь пить. И я легко научился. И пил там с главным инженером. Я его перепил. Так было надо. Правда, один стакан водки я вылил в канистру из-под бензина. Никто ее не заметил. Но в остальном, я пил честно. И с честью.

— Послушай, Толя, чем ты там занимаешься конкретно? В каком ты качестве?

— Моя профессия там — наладчик. Мы налаживаем производство. Но тебе это вряд ли будет интересно узнать. Лучше послушай один мой курский анекдот.

И он рассказал мне притчу про горбуна и заику.

— ...Там такой юмор, Фима. Вообще, люди там почти не ебутся. У них нет сил. Там все тяжело работают. Какой-то несчастный край...

Потом Толя рассказывал:

— Я решил жить проще. Это всегда здоровее. Изучать языки я бросил. Гораздо выгоднее их запоминать. Но это нудно. И я решил изменить метод. Я взялся за лингвистику вообще. Я подошел к ней издалека. У меня получилась своя система. Каждый, кому есть что делать в лингвистике, найдет себе свое дело в ней. А? Но я не об этом. Я о другом... Например, я беру два слова: *парадигма* и *диафрагма*. Что мы там видим? Мы видим там общие части. Какие? Во-первых, ди. Но это начало. Есть скрытые части. Неясные пока что нам с тобой. П а р а д и г м а . Я расчленяю. Тут *пара-ди* и одно *гма*. Тебе это ни о чем не говорит? Тут что-то скрывается. Ниже я скажу, что. Беру *диаграмму*. *Ди* — а *грамма* нет. То есть он есть, но на самом деле его нет. Пока. Я поясню. Под видом слога *гма* скрывается что-то другое. Исчезло *р* и еще одно *м*. Где нам их искать? Это неважно. Важно, что мы нашли их общие корни. Такие корни не валяются где и как попало. Они гнездятся в слове и ждут своего часа. Но это еще не все. Между *парадигмой* и *диаграммой* кроется д и а ф р а г м а . Это заметно. Если хочешь, то диафрагма — это фрагмент парадигмы. Как? (Я был ошеломлен...) Это попутно. Главное другое: я нахожу закономерности. Я свожу эти слова вместе, воедино. У меня получается *ясная диаграмма всех известных мне парадигм*. Из которых можно почерпнуть остальные. Ты понял? Это очень увлекательно — так делать. Слова можно брать из любых языков. В этом достоинство метода. Ошибаются те, кто думает, что *парадигма* встречается в нашей жизни редко. Отнюдь. Она — чаще. Мы узнаем об этом путем датчиков, прикрепленных к сухожилиям наших друзей. И так далее... Скажем, слово *парагенез*. По сходству и по смежности согласных (гласные я опускаю) это — *пара гениев*. Общее тут — *пар*. В пару мы насыщаемся. Это — главное назначение всей купности систем, которые в нас обитают... Это не должно нас смущать. Наоборот, — пусть смущаются другие. Те, кого это коснется, когда станет надо. А это станет.

— Ты сумасшедший?

— Почему?

— Нет, я так просто спросил. Извини.

— Я продолжаю... На основании того, что я частично здесь говорил, я решил построить небольшой курс лекций. Их я буду читать дома. Для тех, кому будет не лень. Там я докажу свои законы. Приведу примеры на стихах. Прежде всего на своих. Мне они ближе. Как и тебе. Например:

Кто изобрел песок в пустыне?
Не я, не вы и не они.
Кто наспех уши сделал свиньям?
Кто выходными сделал дни?
Он — полиглот и полурезчик,
своих сомнений тайный чтец.
Его отец — слепой наводчик,
живущий от своих щедрот...

И так далее. Меня подкупает в этих строках многое. И главное скрытая компоновка рифм. Невидимых вооруженным глазом. И наглядность их. Но многое пропадает бесследно и наобум. Я так не могу. Я должен во все это вмешаться. Меня сдерживает недостаток времени. А это трудно окупить. Так что свои идеи я пустил на самотек. Пусть текут сами. Ты меня понял?

— Кажется, да. Хотя...

— Вообще я устаю. Поэтому отдых входит в мой рацион. Как и в твой. Но пользоваться моим отдыхом я позволяю не всем. Лишь тем, кто в него посвящен. И так далее... И последнее: секрет *ПИ*. Секрет *П*олучения *И*нформации. Это самое трудное. Здесь туман. Как видишь, скопление трудностей. Без этого я не жилец и не отгадчик.

— Но... но как все это понять. Толя?! Это не совсем укладывается в голове. Как все это усвоить? Как все это... взять у тебя?

— Тут свои правила. Их надо знать. Дело в том, что люди получают львиную долю моих знаний — внутривенно. Только венозная кровь способна растворить те затвердения, которые являются ее результатом. И наоборот. Так что — тут своя связь. Ты понял? Не нам ее нарушать. Ни одно мышечное вмешательство в идеи не выдержало еще испытания временем. (Суглинок тут ни

при чем. Лиман это доказал в недавнем прошлом, в своем рассказе «Издревле».) Таким образом, мы получаем нашу пищу незаметно. Всему свой день. Очень скоро наши знания скажутся сами собой. Нам остается только внимательно следить за каждым из нас... Все.

Толя устал. Я тоже. Надо было переварить информацию. Это было непросто. Я взял себя в руки. Обратно мы шли, болтая о ерунде. Исходили паром... Потом мы купили мороженое. Толя съел четыре порции. Я — две. Но наши шансы были равны. То, что он отдал, он не получил взамен: своим мнением я с ним не поделился. Мне надо было обо всем крепко подумать.

На прощанье Толя зажег семафор. Он сделал это легко, без усилий. И уличное движение было восстановлено. «Фокус!» — восхищенно догадался я. Люди ни о чем не догадывались, и вечер тек своим чередом.

Глава 15.
Полный абзац

Ветер продувал перекресток, качал фонари, заносил закатной пылью трамваи, срывал с тумб афиши, объявления, нес мусор. Бледно зажглись фиолетовые трубочки реклам. На Привоз уходили тучи. Город остывал, готовился к ночи. Было еще светло, легко было узнать знакомых.

Кто это пронесся вприпрыжку, черненький такой, маленький, в светлых тапочках? Волоча портфель, остановился, закуривая. Редкие крепкие зубы показал и ханские усики на смуглой скуле. Энергично потряс руку, сказал:

— Привет. Шизаюсь.

— Здравствуй... Как жизнь? — (Вопрос идиота: ведь ясно же сказал, как.) — Страшный суд. Везде опаздываю. Обещал к Матусевичу в три, к Вике — в четыре. А теперь семь. Ни фига не успеваю. Зашиваюсь. А работы навалом. Шесть заказов, а я один. Ну их всех к е... матери. Зашился, б..., дальше некуда. Повеситься от такой жизни. А как у тебя? Тоже хреново? У всех так. Мне еще шесть плакеток сделать, а они, суки, тянут с дровами. Как с луны свалились... (Закуривай.) Художники припоцаные! У них своих кистей нет, так я им должен все достать. Страшный суд! В дурдоме сидел, а такого не было. Недели две среди дуриков провел, так и там было не так страшно Народ там, правда, какой-то странный. Их хуй поймешь. Я там в палате с одним убийцей сидел. Сосед был по койке. Так однажды в другом конце онанист попался. Всю ночь спать не давал. Сам себе анекдот рассказывает: восемь, восемь, восемь. И на койке кидается. Ну, я перетрухал: вдруг сосед проснется и, не разберясь, что к чему, меня же и прикончит. Представляешь положение? Я тогда в темноте подошел к этому буцу и говорю ему тихо: «Если ты, говорю, сука, не успокоишься, я тебе так дам, что навеки жить переста-

нешь». Буц, буц, а понимает. И затих. А что оставалось делать? Я ему так каждую ночь внушал. Так он и вылечился. Вообще, с ними разговаривать трудно. Зафигачат ни с того ни с сего, — и калекой станешь. А кому это нужно? Помню, один дурик на другого за что-то рассердился — и как схватит стол! Хотел дать тому по голове. А стол наглухо к стене привинчен. Так тот чуть с ума не сошел от злости, аж обосцался с натуги. Так ведь это дурики — слабо ориентируются в пространстве. А тут? Здоровые люди, а ведут себя, как дети. Ну их всех на фиг! Я с ними скоро завяжу. Меня от них сламывает. Сдам заказ — и слиняю. Ты видишь, что делается? Шизануться можно. А на фиг мне терять квалификацию? Просто смешно. Сами всю архитектуру портят, а потом говорят, что х...во задуман проект. Дикий народ. Я на них смотрю, и у меня стамески из рук валятся. И совестно, и ничего сделать нельзя. Короче, полный пиздец. Ну ладно, извини. Я линяю. Увидишь Диаблова — передавай привет. (Крепко пожал мне руку и растаял во тьме.)

Был закат. И дул ветер.

Кто-то опухал в углу тротуара. Кто-то знакомый. Тротуар под ним походил на старинную фреску, пошел трещинами. Знакомый нехорошо, неорганизованно мочился. Пускал пузыри. Пел забытые песни. Умирал.

А на углу стояли. Стояли и бранились, захваливая друг друга, два друга. «Они что-то не поделили, — подумал Толя. — Наверно, бабу». Мельком прислушался: оказывается, они не поделили Шурика. Вырывали его друг у друга из рук. Обещали любить, хорошо относиться, лелеять. Потрепанным Арлекином бежал от них тот. На углу оглянулся. Этаким Буратино, Пульчинеллой, востроносой куклой. Гостем оттеда. И пропал за углом.

Блудливо вошел в магазин Лангер, купил плавленый сырок «Радость». Сделал вид, что никого не видит. «По-моему, он виляет», — решил Толя. И пошел за ним. Был холодный весенний вечер, морской туман, какая-то мозговая сырость.

— Куда он пошел? Может быть, мне все это снится? — спросил себя Толя.

— Напрасно ты так думаешь, — ядовито сказал Игорёк. — Это тебе кажется, что снится. На самом деле это жизнь. Жизнь как сон.

— Надо взять это для пьесы. Мне достаточно пары костылей и ведра воды... И потом — у нас есть выход: мы можем проснуться. Поэтому я не расстраиваюсь. Меня такие повороты закаляют.

— Как сталь? — Игорь рассеянно прислушивался к ветру.

— Как видно, — Толя не знал, что ответить: редчайший случай.

Потом начались превращения... Туман смещал объекты. Неизвестные люди шли куда-то в сторону. Горбатый Саша нес на своем горбу Лимана. Из психбольницы молча бежали лошади. На одной, крепенько вцепившись в гриву, полусидел Хрущик. На церковном куполе висел Юра, диковато усмехался. Петя молился на главпочтамте. Шел трамвай без вагоновожатого. Было черт знает что.

— Кажется, мы зашли слишком далеко, — сказал Толя. — Это не наша область. Мы зашли в *фимины сны*. Оставим эти сны ему.

И они повернули.

— Для пьесы мне нужен один костыль, — говорит Толя в самозабвении. — Новый. В масле... Тут есть интрига. Тут предчувствуется убийство... Убийца коллекционирует костыли. Как орудие производства... Я вижу сцену в тюрьме. Или в трюме — это неважно. Я вижу героя. Фамилия его Савчук. Он убивает исключительно костылем. Он как бы инвалид сам. Но исключительно крепкий. Как все инвалиды. Я вижу здесь завязь темы... Он бедный человек. Но у него своя радость — убийства. Это не каждому дано. Ты понял?.. В первой сцене писатель выливает в отлив ведро воды. Ни за что ни про что. Просто так. И говорит: «В этом году будет засуха»... Все. Больше ничего он не говорит до конца пьесы. Такого еще не было нигде. Тут есть свой угол. Свои ценные куски... Потом на площадку выходит Модест со своими мыслями. И его убивают. Его убивают, и он уходит из пьесы восвояси. А?.. Дальше вкратце будет так: оказывается, Савчук не виновен. Он скрылся и живет на пенсии под чужой фамилией. Но на нем пятно. Пятно это расползается по всей пьесе...

Глава 16.
Что-то изменилось к утру

Как чисто пахнет море в часы тумана! По городу летят каштаны и разлетаются в воздухе, как снаряды. Влажные ядра каштанов не достигают цели. Их подбирают дети.

Сбросив бремя мокрых плодов, дерево успокаивается. Опустошенное и сырое, оно глубоко вздыхает. И отдается сумеркам и ветру.

Потом в его кроне поселяются звезды. Глубоко к корням проходит их свет. И сок в жилах дерева начинает светиться. Это — предчувствие рассвета.

Снег, снег заносит Пролетарский. Ветер и тьма царят тут. «Мутно небо, ночь мутна»... Потом все успокаивается. Метель куда-то уходит. Все небо вызвездило... Шура идет домой.

Воняет тысячью подлюк.
Иду домой белейшею невестой.

И «сугроб встречает у ворот мадамской свежей ягодицей».

Он поднимается к себе. Мстительно спускает воду в уборной. Потом мучается угрызениями совести. Смотрит, не разбудил ли мамулю... Подходит к окну. В мокром стекле горько струится отразившийся Шурик. Пропадает и появляется беретик... Он слушает ветер. И Лилины письма превращаются в стихи.

Ночь, ночь на Пролетарском.
А гите нахт,
а гите нахт,
а гите нахт...

— Наша общая умственная отсталость не дает мне покоя. А тебе она дает? Им, — Толик указал на прохожих, — им она дает. И они нами пользуются.

Что-то изменилось к утру в этом городе. Что-то стало не то... Трудно это объяснить. Но это было заметно. Это сразу стало видно... Что-то началось. Откуда ни возьмись, вдруг... Как-то стало вдруг видно во все стороны света.

Над воротами висел вниз головой Саша Клингер. Он был грустен, качался, носом печальным поводил вправо и влево, говорил:

— Видишь, Толик, как все получилось? Фимочка, видишь? Вот... Нам надо было что-то сделать раньше. Я знал, что так с нами поступят.

И мы не могли ему помочь. Саша висел высоко и качался, как флюгер.

— Что это все значит? — спросил Толя себя вслух.

Тротуар под ним дал трещину и двинулся. Тротуар повел себя странно.

— Что это значит? — повторил Толя упавшим куда-то голосом и сделал длинный и крутой вираж в сторону. — Кажется, я падаю, Фима! — крикнул он и дал мне руку.

Я не взял. Меня отнесло. Тротуар лопнул. Пар шел из трещин преисподней.

Саша забился в петле, забеспокоился:

— Снимите меня, я вижу выход!..

На мостовую начало медленно сносить дом. С балконов упали горшки с цветами, из окна выпал мальчик.

— Мама!! — крикнула торговка мороженым и разъехавшимися ногами пошла в разные стороны.

Дым клубился над городом. На Преображенской стемнело.

— Это землетрясение, — сказал Толя и исчез в подворотне.

Огромный угловой дом сделал гримасу из камня и медленно сел на мостовую. Пыль и грохот сопровождали его падение...

Потом полил дождь. Дождь заливал оконные стекла, как будто это были иллюминаторы. Город погружался в пучину дождя. Пена курчавилась на карнизах. За ночь все двери города разбухли и поросли травой. Всю ночь штормило.

Мы с трудом добежали до вокзала.

— Саша еще висит, — сказал Толя. Зубы его стучали. — Тяжело это видеть.

— Скоро, наверно, придут за нами, — сказал я.

— За нами не придут. Одного им хватит. Саша висит в назидание.

— Это еще неизвестно.

— Брось, он висит за остроумие. За свои собеседования с самим собой. Но нас это не должно коснуться.

— Ты думаешь?.. Между прочим, ты плохо смотрел. Если вглядеться, легко можно заметить над каждыми воротами по одному из нас. Вряд ли это случайно.

— А может быть... может быть, так нужно? Для порядка. Для нужд. А?

— Значит, он висит по *великой нужде*, — задумчиво ответил Толя, и руки его вспотели от страха.

...Океанская вода выносила из города обломки. Соленый ветер надувал деревья. Глубоко в сердце входил этот грохот... Тонны кубометров воздуха заходило по квартирам. Шумел шторм, и люди кричали, как морские чайки.

— Как пройти на площадь Смоктуновского? — спросил весь в белом старик.

Никто ему не ответил. Темная волна сиганула из-за поворота с улицы Франца Меринга — и квартала не стало.

Мокрой лапой ветер сгреб киоск, и тот полетел над городом, маша стеклами, выбитой дверцей. Сипло кричал продавец.

Из окна правительственного здания вылетела старушка-уборщица — ее забыли в учреждении. Долго еще носилось ее алое платье в волнах и пене, пока не застряло высоко в проводах сигнальной тряпкой катастрофы.

Падали, опадали балконы. Морская пена кипела на крышах. Кутерьма была вокруг. Был шум и шторм. Было побоище.

Сквозь толщу воды я вижу своих знакомых. Глаза у них выпучены, как у глубоководных рыб. Рты их раскрыты. Они кричат, никто их не слышит.

Я подплываю... и ударяюсь в стекло. Мы в аквариуме.

— Ма-маааа!.. — кричат все. Но это последнее.

...Все. Сбылось пророчество. Потоп обрушился на красивый город.

Это конец. Мы захлебываемся.

Потом стало тихо. Вода опадает. Показывается небо, разрушенное грозой. С воем уносится вода в канализационные трубы. Несколько трупов величаво проплыли мимо — и дружно завернули за угол... Город обнажился как морское дно.

У подъезда, обнимая гранитный цоколь, плакал мокрый Худолеев:

— Это я!.. Я во всем виноват!.. Надо было предвидеть...

Я вспомнил: он работал в бюро прогнозов. Случившееся потрясло его.

— Сколько это продолжалось, Володя? (Он всхлипывал, размазывал светлые слезы.)

— Это было недолго, Фима, всего полчаса. Многие живы.

— Не плачь, не надо. Ты не виноват. Надо идти.

— Куда?

— Домой. Я иду домой. Ты идешь?

Улицы были сметены ливнем. Столбы накренились. На верхушках сидели люди. В спутанных проводах висели вымершие трамваи. (Эти не спаслись. Это гробá.)

Тогда я побежал. Страшное беспокойство охватило меня... Маму я нашел у соседей... Слава Богу. Жизнь продолжалась.

— Слава Богу, — сказала соседка Баренбойм, — звонили из исполкома. К нам уже идут на помощь...

— *Хочется расчесать эту повесть до крови. Как экзему... Избавиться от нее наконец.*

— *У меня, например, руки уже давно чешутся. Но по другой причине... Давно пора автору набить морду. Чтоб не искажал. Он исказил мою жизнь!!!*

— *Наоборот. Он тебя любит. Это же видно и сквозит из каждого слова. Ты превратно его понимаешь... Правда, он превратно тебя понимает?*

— *Ах, какая разница? Ребята! Это все интересно. Это игра. Для дома, для семьи. Для малого круга. Так что... зачем обиды? Дело не в этом. А в том, что все мы рано или поздно — умрем. Вот что. А в свете этого все выглядит иначе. Ведь верно? Сидя в туалете, ко мне пришла эта мысль... И надо писать. Бесконечно. Чтобы понять, что к чему. Откуда мы и зачем. И как.*

— *Ну, это уже... чересчур. Ты много на нас кладешь. И на себя берешь. Так нельзя.*

— *Я ненавижу стук твоей машинки. Я просто схожу с ума. Я начну уходить из дома.*

— *Хорошо. Я пойду всем — и тебе — навстречу. Я перестану. И начну все делать тихо. Без шума. А теперь — послушайте еще кусочек...*

Глава 1

«Рефлексия, самокопание никогда не были в характере людей, населявших Одессу. У земляков Багрицкого отсутствовал вкус к абстракции. В Одессе никогда не было богоискателей, визионеров, религиозных философов. Под этим плотным, вечно синим небом жили чрезвычайно земные люди, которые для того, чтобы понять что-нибудь, должны были это ощупать, взять на зуб.

Заезжие мистики из северных губерний вызывали здесь смех. В Одессе никогда не увлекались Достоевским. Любили Толстого, но без его философии. Здесь процветали в умах литературной молодежи Пушкин, Бальзак, Стивенсон, Чехов. Не Скрябин был властителем дум в этом городе, имевшем репутацию музыкального, а Верди и Чайковский».

Представь себе, — Лев Славин.

— Кроме того, ты стал нас слишком жадно и нехорошо слушать. Всех. А меня в особенности. В чем дело? Тут что-то кроется. Какой-то интерес. Не виляй. Ты должен признаться, что слушаешь нас не бескорыстно.

— Черт знает что. При чем тут корысть?

— При том. Не прикидывайся.

— Вздор какой-то, и все.

— Отнюдь. Вот, например, я. Почему все это, всю эту историю — я рассказываю именно тебе? А? Тут неспроста. Ты меня вынуждаешь, ты на меня действуешь. И я рассказываю. Согласись, что тут не без...

— Чего??

— Игры. Ты играешь на моих слабых струнах. Почему я должен все это рассказывать именно тебе? Я ведь знаю, что стоит мне уйти, ты сразу кинешься к бумаге — и дело в шляпе. Все, как есть, запишешь. И *предашь*...

— Кого??

— Я говорю: *предашь* гласности. И все же — я тебе рассказываю. Меня так и тянет. С этим пора кончать. Больше тебе — ни слова. Посмотрим, как ты тогда будешь жить. Если я замолчу. Чем ты тогда проживешь.

Глава 2

Токман стоял у порога. Мученически сложив ручки, исподлобья очков смотрел он на хозяина. Рядом с таким человеком всегда чувствуешь себя здоровым и сильным. Субстаныч напивался этой слабости, пил ее и твердел, мужая. К концу беседы амбалом чувствовал он себя.

— Я полагаю, мне можно войти? — спросил Хаим, вызывающе соблюдая дистанцию, нажимая на «войти».

— О чем разговор? Конечно, входи, — пришлось засуетиться, чтобы как-то не задеть гостя, не ранить. Может быть, даже не убить.

— Так вот. Я, собственно, по делу, которое касается каждого порядочного человека, — Хаим испытующе посмотрел на собеседника.

— Вот как? — оторопело сказал Игорёк и весь как-то подобрался.

(Токман взывал к порядочности. Это обязывало. Надо было быть начеку.)

— Я полагаю, ты подпишешь? — и он ткнул в сторону Игоря бумажный свиток.

— Что это?.. — осторожно осведомился тот.

— Речь идет о кирхе. Я опускаю вопрос об ее уникальности, ибо время не ждет. Короче: предполагается снос, и интеллигенция решила выступить.

— Куда?

— В защиту. Читай.

Это была петиция. «Н-да... Тут пахнет жареным. Надо его образумить».

— Видишь ли... — неопределенно начал Павлов, — тут надо... подумать. Взвесить. Прозондировать почву.

— Поздно, — Хаим был непреклонен. — Либо ты немедленно подписываешь, либо... — и глаза его из-под очков опасно блеснули.

— Ну почему же? Я подпишу. Но... Но у меня есть контрвопрос: а если все-таки решатся на снос? Что тогда?

— Тогда я пойду и сяду. Не бойся, — я *сяду в яму*. И они не посмеют... — Хаим жертвенно посмотрел во тьму.

...Дальше — уже легенда.

Кирху не тронули. Великолепное средневековое сооружение (ныне — заброшенный спортзал) уносится многострадальными башнями своими в осеннее одесское небо, собирая у подножья шумное воронье вече.

В то хмурое утро петиция не помогла. Лязгая гусеницами, разгребая задними ногами мокрую глину, в прорытый загодя котлован пошел бульдозер. И замер на полпути. Там, где он должен был пройти, героически сидело маленькое худое человечье тело. То был неподкупно смотревший в ошалелую морду бульдозериста отчаявшийся Токман, идущий на все.

Машина не посмела. Администрация отступила. Кирха была спасена.

— Он, конечно, *идьёт*, пусть он меня извинит, — комментировал позже Игорёк, — но он всем нам пример.

Глава 3

— С Фиолетычем, как впрочем, и с каждым из нас, дело обстоит непросто. Фокус в том, что, несмотря на дичь и пляску мысли, он в ста случаях из... девяноста оказывается прав. Как это ни странно. Но прав издалека. Не тактически, а стратегически. То есть он может и ошибиться в сроке, но по существу — нет. Так что те, кто называют его поцом, ошибаются. Ибо где вы видели прозорливого поца? Сложно все, вот что надо понять... И потом, он божий человек. Это не каждому дано. Страдающий от искусства, которое не дает ему жить. А кому оно дает?

— Оно дает многим...

— По-моему, ему нужно бросить писать и начать жить... Но жить еще труднее. Вот в чем ужас.

— Надо стараться.

— Легко сказать. Мы хотим скрыться и от жизни, и от искусства. Куда-нибудь в овес.

— Это невозможно. Надо выбрать. Кто послабей, выбирает жизнь. В ней тоже тяжело, но там легче замести следы. А попробуй замести следы (или след) в искусстве. Тут все на виду.

— Ты начал себе противоречить.

— Не себе, а тебе. Тут разница. Но ты ее не заметил... Ну, ладно. Будь здоров. Продолжим после. Когда настанет время. А оно настанет.

— А Люся все-таки стерва. Мое мнение такое. Да, да, не возражай. Я лучше знаю. Она просто не успевает надевать трусы. Это-то и возмутительно... А я уши развесил. Но ненадолго. В отличие от тебя. У которого они до сих пор висят. Потому что ты поц. В отличие от меня. Который тоже поц, но понимает это. В отличие от тебя, который этого не понимает. И так далее. И тому подобное... Но ты все равно не поймешь. И это к лучшему.

Потом он читал мне свой рассказ про Эллочку Пипер. Рассказ был об одиночестве и еще о чем-то. Там были пьяные мятые люди, из рассказа торчали острые коленки пятидесятилетней певички, пучки волос, участковый милиционер с фамилией Кусыця.

Глава 4

А вот и стихи. Наконец-то.

Часы уснули. Юный гондольер
Вникает на открытке в суть пространства.
Восторг в душе его от постоянства
Воды и пенья. Рядом спит Мольер.
Махнув рукой на море злодеянья,
Чугунный Дон-Кихот читает вслух роман,
Где правда торжествует, а обман,
Кольнув легко, не портит мирозданья...
Чудесное старинное изданье.

Это Валера Дедушев сочинил, в бытность свою в Новобосяцке. Теперь он уехал в Нью-Йорк или Багдад — в гости к шейху.

— Валера, где ты?

...Кровь наполеоновских битв ударила мне в голову. Кровавое вино. Ромуальд Амундсен. Закаты. Сны.

Гекзаметр наполовину с льдом.
Поспели крыши, вороватость дяди —
Не потревожит маршала. В снаряде
Нет прока. Нет его и в олухе глухом.

Когда кареты брошены на слом,
Нет смысла выходить в таком смешном наряде,
Чтобы запутаться в безлюдном маскераде
И горести запить роскошнейшим вином.

Ну и так далее... Ну, как моя импровизация? Вздор? Неважно. Стихов хочу, стихов! Сонетной формы хочу. Музыку сонета мне подавай. И вообще — стихов! Что-нибудь этакое, что-нибудь о Бонапарте. О маленьком капрале. И я уже не могу остановиться... Стихов хочу, стихов!

Полно врать, мы все устали.
Полночь смотрит на дворе...
Спасибо, дедушка, вам, Сталин,
И вам, Бальзак де Оноре.
И вам, сосед по скорбной плоти,
В пыли и в пятнах, мой пиджак.
Все кончено. Мы в переплете —
Гирш, Александр, я, Бальзак.

Или же:

Сидят вельветные травест'и,
Пьют воду с'о льдом.
Испанский нищий мямлит стих
И клянчит сольдо.
Дерев зеленые сомбреро,
Блистающие облака...
Печальный мальчик, покрытый флером,
Читает розовый плакат.

Это мы с Шурой.

Глава 5

Это прекрасное предхолерное лето... Этот свернувшийся улиткой август... Эти переполненные огородами дачи... Это все... Где полуголый Гирш, исполненный восточной неги, почесывая брюхо, принимал меня и Шуру «в чалме махровых полотенец, счастлив и розов, как младенец». Облив нас предварительно ключевой водой из бака, живительной влагой, предназначенной для огородных пчел и перепревших в фонтанском зное тыкв.

Ну, и чай, как полагается, с вареньем домашнего, можно сказать, изготовления. Чтоб пóтом прошибло — и как рукой сняло! А после в блаженной праздности — стих выпустить зеленой свежайшей стрелкой лука:

В прохладе и в сумерках дачных покоев
Веселые сны отдохнувших изгоев...

— Из кого, из кого? — спросил незевающий Гирш. — *Из гоев*?

Ищу забытые молельни
И запах Торы...
Я лет своих усталый мельник,
Хранитель горя.

Глава 6

Мы поссорились с Ливанычем. Гланц помирил нас.

— Если бы ты был тонким психологом, Анатолий, ты бы понял, что я этого уже не хотел. Но ты содействовал, и тут твоя вина.

— Я хотел как лучше. Я видел, что обе стороны готовы.

— К чему?

— К общесоюзной и областной славе... (Фимоза, я пошутил.)

— Я понимаю, что ты пошутил. И все же...

— Если я полез не к делу, ты сам тут повинен. Отныне я от вас отказываюсь... Идите вы все — знаете куда? И ищите сами себе путей. Я вам не советчик и не отгадчик снов.

— Все равно, Толя, спасибо.

— За что?

— За труд.

— Этот труд мне ни к чему. Возьми его себе.

Беседовали с Олежеком.

— Я пошло себя веду, правда? Я знаю. Я ужасный пошляк сегодня. Но сам бы я не распустился — меня распустил Шуневич. Я провел с ним восемь с половиной часов — и совершенно сломлен. Он меня перемолол.

— *Восемь с половиной*? Почти как у Феллини.

— Феллини тут нечего делать. Тут было почище.

— У тебя измученный вид.

— Еще бы. В течение восьми часов мы говорили друг другу правду! Представляешь? За всю жизнь я столько не сказал.

— Охотно верю.

— Это страшно изматывает. Теперь я никуда не гожусь. Мы сказали друг другу слишком много гадостей. Так говорить гадости, как мы с Шуневичем, никто не может. Мы не щадили друг друга... Ничего, это полезно. Наконец-то я мог сказать ему, кто он такой. И хоть душа заплевана, но мне в каком-то плане стало легче. Хотя... Черт его знает. Я перестал что-либо понимать вообще... Извини. Я выжат окончательно. Дай закурить.

Странные наши разговоры:

— По-моему, он несчастен. Как тип. Он несчастливый человек, лишенный слуха. Это его беда. Он недоступен музыке. Хотя любит ее. Ему не то что медведь на ухо наступил, но какие-то важные ушные хрящики он ему переломал. Зрелище глухого, играющего на трубе слепых.

— Ах, не говори. Все это оправдание раба.

— Что же тогда не оправдание раба?

— Ничего. Ничего не оправдание раба.

— Что ты заладил? Ты меня сводишь с пути и с ума.

— Никуда я тебя не свожу. Ты олух...

— Куда ты меня привел?

— К обрыву. К месту, где обрывается моя повесть. И юность.

— Что я должен делать?

— Ничего. Ты должен прыгнуть.

— Почему?!

— Чтоб испытать. Испытать ощущение полета. Как ее герои. Итак...

— Я вернусь?

— Это неизвестно.

— Хорошо, — сказал Толя. — Я готов. Во имя отца и сына и их пропавшего внука... Вперед!

И Толя прыгнул. Ветер снес его вниз, как яйцо. Упав, он сразу спросил себе молока. Подбежавший пропастянин услужливо протянул ему кувшин. В холоде молока Толя почувствовал холод равнин, оставленных наверху.

— Где я?

— Тут, — ответил хихикающий житель.

— Ты стал знаменит.

— Это мне не в новость.

— Ты стал боровом, Толя. Куда это приведет?

— Да, я растолстел. Но не телом, а духом. Мне необходимо похудание. Надо менять пищу. Мой духовный жир мешает мне двигаться вперед. Но я его уберу... Мне нужна масса. Без нее я теряю инерцию. И ту глубокую осадку, которая позволяет мне плыть... Так что тут проблема о двух китах. Как тут не найти третьего?.. Ты изобразил меня в своих записях довольно однобоко. Хотя по-своему замечательно. Но ты обошел стороной мои другие стороны. И приписал мне некоторое плоскостопие ума. За это я на тебя не в обиде. Когда я читаю, мне не к чему придраться. Хотя я мог бы.

Глава 7

Странно: все куда-то исчезли. Куда? Неясно. Все разошлись к себе по домам. Разбежались — кто куда.

Это пустынное лето сулит обильную осень. Но у Игоря нам уже не собраться, увы. Он закрыл свой дом. И вывесил табличку: просят не беспокоить.

Куда же тогда всем деться? Особенно если пойдут дожди... Ума не приложу.

Я затосковал по художникам. Их стало что-то не видать. Раньше шагу нельзя было ступить: чуть что — и художник. Зазевался — налетаешь на Дюльфика. Не успел с Привоза уйти — бац — и Маринюк, жуя усы, неспешно, в берете от Сезанна и Верлена. Дорогу перебегаешь — непременно Стрельникова на углу приметишь, с еще кем-то. В бар завернешь — а уж Саша там, и Сыч в коньячной дреме. Заворачиваешь на Пушкинскую — Мока ликом, лицом Достоевского семафорит, дескать, путь свободен. Из каждого квартала Коля Новиков — ползком, преодолевая препятствия. На пути к абсолюту. Хрущ на улице стал редок. Как горностай. Он все по квартирам. И выходит к ночи.

Теперь — никого, и город оскудел. Поблек. Один Митник, идущий на аудиенцию к Соколову, погоду не делает.

И вот я ищу. Ищу сгинувших куда-то художников. Без них невыносимо. Как будто город обокрали... Нет, не может быть. Они где-то здесь. Где-то тут. Только притаились. До поры. Наверняка работают... Так хочу я думать. И я жду. Они меня не обманут. Меня грех обманывать. Я люблю живопись. И все, с ней связанное.

Слушок пошел, что всех — вместе — забрали на халтуру. Расписывать колхозы. Ума и денег набираться. Очень возможно. Только это ненадолго. Скоро, скоро вернутся они и сблюют платное пойло на ковры и прочую нечисть. И будут правы. Ибо в душе они очень любят свободу и ветер. Ветер и деньги. И свежие краски. Запахи красок и моря. Свежую скумбрию. Свежий, тугой ветер. Вообще, все свежее и тугое. Туго натянутые холсты. Крепкие гнутые паруса. И свободу. Свободу мыслить и передвигаться в нужном им направлении.

Глава 8

Дюльфик, с мешком цемента за плечами:

— Я вижу, у тебя новые штаны. Куда же ты в них идешь?

— К Грише на день рождения. Его жены.

— Бенемунес, я очень сожалею. Что не могу быть. Передай ему все, что ему от меня нужно. Привет и так далее... Я его помню. Он не меценат? Занятный парень. Ты удивлен? Я еще могу удивлять? Смотри, я еще могу, а? Ты сделал мне приятное. Ну, пока. Привет имениннику. Шурик, наверно, уже давно там. Торопись... Извини, я с грузом...

Я не опоздал. Все еще было непочато. Неизвестные гости коротали время в беседе. Шурик возжигал пятый окурок и кружил вокруг коньячной посуды. Гриша хозяйским глазом хлебосола шарил по столу. Стол был полон и, можно сказать, ломился. Унылые мужья стерегли своих жен. Жены подстерегали друг друга. Гриша неторопливо сновал между ними и вязал беседу. Ира сновала на кухне. В распахнутое окно балкона в комнату рвался виноград. Было душно.

Я схватился за Шурика. Как за маму. И не выпускал его уже весь вечер.

— Ну как, Гриша, скоро? — спрашивали мы.

— Вот, уже, кажется, подают. Ира, кажется, уже все? Ну вот, уже все. Будем просить к столу. Только хлеб надо бы поднарезать. Фима, ты не возьмешься?

Я взялся. Не дорезав, я скользнул на балкон.

— Покурим?

Мы закурили.

На балконе было прохладно. И не было гостей. Но нас кликнули. Пришлось вернуться. Вечер начался.

— Надо выпить, правда? Или нет? Может, неудобно? — это говорю я.

Шурик чуть колеблется, потом, презирая меня, себя и всех понемногу, соглашается. Под сенью Гришиной библиотеки мы хлебнули дикого скифского вина. К нам присоединился гость, втянувший нас в трудную (для него) беседу о поэзии Пушкина и Ильи Эренбурга. Потом Гриша нас спасает, оставляя гостя с недоеденной фразой о Заболоцком и Слуцком, и уводит к столу.

Гости робко топтались вилочками у вальяжно развалившегося на блюде петуха, не решаясь приступить, и долго и изощренно ели салат. Гриша всех пригласил... Сделал это молча. Стал есть. Так хорошо и много, что гости дрогнули. Он не притворялся. Он действительно ел с аппетитом. И гости расковались.

Гриша ест. Стоя. Следя за всеми. Слегка распустив пояс. Подбадривая нерешительных. Накладывая куски. Жир течет по его подбородку. Подбородок его блестит от жира. Щеки распалились. Очки сняты. Глазки запотевают. Он успевает следить за беседой, не упускает случая осадить поднявшегося было гостя, поедает приплывшие к нему в салатном рассоле маслины, вгрызается метко в куриную четверть, запивая ее янтарным ледяным вином... Петрушкой и укропом присыпан он. Фаршированными яйцами и грибочками балует он гостей. Похвалами сквозь непрожеванную снедь балуют они его... И скоро, увлеченные пищей, забывают. Потом начинается художественное... Гриша мягко выталкивает на середину стола меня. Затем отдается гостям сам и читает несколько своих сонетов. После кото-

рых наступает тишина... Все это слишком высоко, и гостям становится стыдно за съеденное. Все восхищены. И подавлены.

Вечер начинает делиться на две части... К началу второй я, крепко держась за Шурика, выхожу на балкон. Пот прошибает меня. Я остужаю свой лоб о зеленоватое стекло. Курю. Шурик бегло осматривает пару созвездий и ожесточенно затягивается.

— По-моему, неудобно, что мы здесь. По-моему, надо вернуться.

Шура молчит. И тогда я сам себе говорю бессмертные слова: «А е... их в сраку!» И остаюсь.

На балконе ветер и пахнет листвой. За балконной дверью расшалились гости, передавая из рук в руки анекдот... Я поворачиваюсь к ним спиной и тянусь к винограду. Срываю пыльную гронку. Начинаю есть. Предлагаю Шурику. Он отказывается:

— Как ты можешь есть виноград, который вырос из Гришиной плоти?

— То есть?

— Ведь он растет из квартиры, где ходит и живет Гриша.

Я сразу себе все представил. И виноград есть больше не стал. Хотя сорт был любимый.

За столом булькают, закипают разговорчики. Я сажусь на свое место, и меня втягивают. Дама в красном просит убедить ее в том, что ехать надо. Я пробую. Доводы мои смехотворны. Они тут же разбиваются о гранит ее веры в противоположное. Я посрамлен. Так мне и надо. Я отползаю к Шурику. Он с блеском отбивается от пары насевших на него молодоженов со стажем. Идет обсуждение технической стороны дела. Тут можно вставить слово, и я вставляю:

— Как вы думаете, постель брать нужно?

Оказывается, не обязательно, хотя желательно. Но это детали.

— А побочные вещи? — смелею я.

— То есть?

— Ну, обиход. Там — миски, коптилки, то, се...

— Что вы! Там все есть. Всего набито битком. Достаточно пары белья и зубной щетки (и пасты). И все.

— А как добиться разрешения?

— Это тоже не проблема.

— Что же проблема? — не унимаюсь я.

— Решиться. Важно решиться. Если вы решились — вам ничего не страшно. Никто вам не страшен. Вы поняли?

Я понял. Я возвращаюсь на место.

Не помню, как закончился вечер. Было много пито. После сладкого гости стали заметно слабеть... Уходили по одному, по два. Иногда по три. Я ревниво следил, как бы кто не увел Шурика. Мы немного поговорили о Матусевиче, Австралии, Матиссе и Дега, Булате Окуджаве и Давиде Самойлове. О «КОБОЛ'е» и НИИС'е, Ближнем Востоке и театре, потом коснулись Гете и Бабеля, музыки Стравинского и Куна, рисунков Штивельбана и Леонардо, и еще проблемы транспорта на Черемушках и прекрасного степного воздуха в этот час.

Гриша нас проводил. Как и в первой части этого «Роман-са», роптала листва, чуя близкую осень. Был уже сентябрь, и к ночи он давал себя знать. Лето закрывалось.

Последние троллейбусы покорно возвращались в депо и оставались на приколе. До утра. Ветер нес нас к остановке... И тогда Гриша сказал:

— Посмотрите, какой запах!.. Пахнет неубитой степью.

— «Какой зрелый свет!» — процитировал Шурик (пропел Шурик), вглядываясь во тьму.

Над дальним аэродромом мертвым ручейком протекал последний закатный отблеск и скоро смерк... Был час ночи. Необжитые крупноблочные дома громоздились сумеречными глыбами, как вставший со дна флот. Расстояние между домами было огромным, и перебегать его было страшновато... Маленькие люди на другой планете ждали на улице Космонавтов вестей с космодрома. Шурику надоел скафандр, он сбросил шлем и закурил... Потом по дну ущелья пополз зеленый огонек. Он двигался медленно, далеко, но неумолимо... Слава богу. Это к нам. Такси подъехало.

— Значит, я жду! — крикнул Гриша, уносимый аэродинамическим ветром. — Звоните!

Шурик помахал Гиршу беретиком, и мы сели. Самолет взмыл. Отряхая росу звезд, растолкав нагретым телом листву, самолетик чиркнул брюхом по бетону — и покинул Черемушки.

Таксист был широкоплеч и молчалив. Дорогу знал отменно. Вел машину легко, элегантно. Вообще хороший был шофер. Откинувшись на сиденья, мы отдыхали. Опустив пуленепробиваемые стекла, я погрузил руку в ветер, и рука тут же окрасилась марганцевой семафорной кровью... Переезд.

На Черноморской дороге было пустынно. Мимо проносились ночные сады, глубокой ключевой сыростью были полны огороды, грозно шумела кладбищенская листва, о стекла стучали плодовые деревья. Мы миновали Красный Крест, пролетели тюрьму (нас долго догоняли синие сигнальные лампочки на столбиках проволочных заграждений). Потом дорогу занесло пылью — какой-то гигантский автобус с погашенными огнями тяжело развернулся на эстакаде и врезался в туман под мостом — увез в сторону Молдавии груз кавунов и спящих интернатских детей... И снова пустынно. Справа потянулось старое еврейское кладбище с полузабытой братской могилой поэта Фруга и Менделе Мойхер-Сфорима. И тут же пропало. Кладбище было маленьким. Заброшенным и забытым. Бурьян крепко оплел старые мраморные плиты с библейскими письменами и не пускал их.

...Самолет плавно качнул крыльями, приветствуя могилы, и пошел на снижение. Мокрыми фиолетовыми огоньками под крылом елозил вокзал. Кабину заливал дождь... На щитке дружно рефлексировали авиационные приборы.

Счетчик показал рубль. Нас качнуло и занесло над Привозом. Сделав глубокий вдох над мясным корпусом, автомобиль вылетел на проспект Мира. В Александровском парке тихо лежали грифоны.

Шурик задремал. Я оглянулся. Шофер спал. Машина мягко шла вперед. Я забеспокоился, тронул плечо шофера. Машина свернула в переулок. Там было темно от кустов. Где-то тут был детсад. Непонятно. Зачем мы сюда заехали?..

— Извините, дорогой, — сказал я, — если я вас правильно понял, то где мы?

Шофер молчал. Он спал. Как убитый.

Глава 9

В повести Шлафера было тесно. Там негде было повернуться. Всюду шли разговоры... Сычитон и Авсклепий долго бранились. Им трудно было понять друг друга. Нечеловеческим усилием воли автор заставлял своих героев понимать себя. Они давно были два друга... Один держал другого на протяжении всей повести за ногу. Над пропастью. Чуть ли не во ржи. И не мог его отпустить. Хотя хотел.

— Брось меня. Отпусти мою ногу, — состязаясь с самим собой в благородстве, сказал Авсклепий, вися над бездной.

— Не брошу, — упрямо твердил Сычитон, хотя сползал.

— Если ты не бросишь, ты сползешь. И тогда все.

— Я знаю, — сказал Сычитон, — но я не брошу. (Он плакал.)

— Это глупо, — сказал А.

— Пусть глупо, — сказал С. — Пусть глупо. Зато ты будешь жить.

— Брось, — вниз головой говорил Авсклепий. — Так долго жить нельзя.

— Не брошу, — плача, сказал Сычитон и подумал: «Надо бросить».

— Ты напрасно себя мучаешь, — сказал А., качаясь над пропастью. — Ты все равно бросишь. Рано или поздно.

— Нет, — сказал С., не веря себе.

— Да, — сказал А. (Ему уже надоело висеть. Он хотел упасть.)

— Я тебе не доставлю радости, — сказал Сычитон и сполз.

— Ты жестокий человек, — сказал Авсклепий. — Я тебя таким не знал. Брось меня. Тебе сразу станет легче.

— Ты просто так говоришь. А сам хочешь выгадать, — сказал С.

— Не щекочи меня, а то я умру от смеха, — крикнул А. — Брось немедленно!

— Ты хочешь выгадать, — размазывая слезы свободной рукой, говорил Сычитон. — Поклянись мне, что ты меня не обманешь. Что тебе от этого не будет пользы. Тогда я брошу.

— Я тебе клянусь, что мне от этого никакой не будет пользы, — сказал А. — А тебе будет.

— Я не верю... — вяло сказал С. и стал отпускать А. (А сам сползал.)

— Скорее, я опоздаю в пропасть! — крикнул Авсклепий.

— Ты хочешь меня убить своим благородством. — Нет. Я не брошу.

— Тогда отпили мне ногу. Отпили, и у тебя останется моя нога. Сбегай домой за пилой. Это недалеко.

— Нет. На это уйдет время. И я окажусь плохим. Не мучай меня. Упади сам.

— Но я не могу без твоей помощи. Ты должен понять. Пусти меня.

— Никогда! — сказал С. и чуть не уронил того вниз.

— Тогда я испорчу воздух, — нашелся измученный А.

— Ты не сделаешь этого. Ты не такой, — сказал С.

— Напрасно ты так думаешь, — весело сказал А. — Внимание: я — порчу. Ну?..

И С. не выдержал. Он выпустил из рук ногу А. И тот полетел.

— Да здравствует Оленин! — кричал почему-то он и летел вниз.

— О горе мне! — сказал с ложным пафосом С. и вылез наверх. Но тут его грубо толкнули ногой в лицо, и С. поскользнулся.

— Да здравствует Володя! — проревел Голос, и, падая, С. увидел, как над пропастью наклонилось чье-то лицо. «Кто бы это мог быть?» — думал он, ударяясь о камни.

Наверху стоял Шлафер, автор повести, молодой отважный убийца, зеленоглазый атлет с лицом пилота, юный римлянин, кровь с молоком, еврей.

— Я долго мял бумаги ком
И долго думал ни о ком, —

произнес Ш. и спросил меня в упор:

— Что называется половым актом?

Я не знал. Тогда он поставил мне 2. Табель с двойкой я понес домой — показывать маме.

Глава 10

Толик стал объяснять:

— У Гриши хорошие манеры. В литературе. И в жизни. Это его отличает от многих в выгодную от нас сторону. Он классик по натуре. Его не берет никакой модерн. Он против него вооружен. Чем — я не знаю. Но у него есть противоядие. И он им пользуется. Мы так не можем. Хотя у нас — свое. Ему не доступное. И так — везде. Что есть у одного, то, как правило, есть в избытке у другого, но нет у третьего. И так далее. Так обстоят дела с Гришей. Его трудно обойти. У него свой подход. К этому нужно привыкнуть. Например, он берет вещь. Скажем, этот телевизор. Он его берет так, что тот становится маленьким, уменьшаясь до размеров человеческого глаза. Так он поступает с человеком или с идеей: он рассматривает их, держа их в руках. И получает избыточную информацию. Таков Гриша. По-моему, когда ему нужно (а ему часто нужно), он заставляет вещь (или человека, или идею — чаще всего, человека) ходить или даже бегать вокруг себя, как вокруг своей оси, и в это время он их изучает... А? Ты так не можешь. Ты делаешь иначе. Почти наоборот. Ты сам бегаешь или летаешь вокруг вещи или человека — совершаешь ряд одному тебе известных замысловатых траекторий, приближаешься, удаляешься, приседаешь, касаешься вещи (или человека) то там, то тут — и в результате, как это ни странно, тоже получаешь свою информацию, с довольно интересных граней и сторон. Я верно определяю твой метод? Примерно... Я же поступаю совсем иначе, нежели вы оба. Как человек тяжелый и грубый (и, по-своему, даже тупой), я иду прямо, как танк, подминая под себя вещь, идею или человека — таким образом я их познаю. Как видишь, познание достается мне недешево. Но я на себя не в обиде... У каждого свой способ брать у жизни то, что еще можно в ней взять. А, Фима? Как ты думаешь, я рассудил нас всех здраво? А что касается личных нюансов, то у кого их нет. Не надо искать того, чего не надо искать.

Разговор еще продолжался, и скоро мы перешли на Чернышевского, Набокова, Генри Миллера, «Тропик Рака», Павлова, Бермана, Бергмана, Шурика и еще многих.

Глава 11

— Когда я вижу Шмуца, мне становятся тяжело дышать, — сказал Гирш. — Мне кажется, что я попал в провинциальную уборную, куда-нибудь в Каменец-Подольск. Я был там однажды и видел, как в глубине мной содеянного плавали и корчились белые черви. Это было ужасно. Меня тут же вырвало. А теперь у меня то же ощущение. Пошли отсюда.

Шурик ядовито щурился. Гирша потянуло на дерьмо — это неплохое предзнаменование. По крайней мере, речь пойдет о жизни, и с симфониями и ораториями Генделя это сочетать будет трудно. Впрочем, Гирша это не остановит. Наоборот — раззадорит. Так и есть. Он уже перешел к Шостаковичу:

— Огромное впечатление... Я был разъят музыкой. Это было что-то большое, настоящее. Одно из самых мощных моих музыкальных впечатлений. Очень советую.

Высоко над Пушкинской парило синенькое выцветшее небо, закатная пыль золотила римские профили и грудные яблоки заждавшихся кариатид. На легких пороховых крыльях проносились троллейбусы. Пахло морем, фисташками, шашлычным дымом. У афишных тумб мочились дети. В погребки незаметно — для себя — проваливались прохожие.

— По-моему, Матусевичу надо дать телеграмму.

— А пошел он!..

— Ну зачем ты так? Надо дать, ему будет приятно.

— А он нам дает?

— Это ты напрасно. Дает. Уже дал. Надо будет дать... Кстати, у нас преимущество: я изучаю кобол, ты — кобыл, а у Фимы — фигура, он худощав и строен. Там это оценят.

Глава 12

Беседовали мы с Валерианычем.

— Меня часто интересует, как там тот свет. Никто не знает, есть ли он. Я думаю: есть. Хотя никто еще оттуда не возвращался.

— Это нам неизвестно, — уклончиво сказал я.

— Никто, никто. Уж поверь.

— Н-ну... может быть.

— Ты читал доктора Штейнера? Я читал. Он говорит, что, собираясь на тот свет, надо жить... Я еще не жил. Хотя мне сорок четыре. Не жил, не жил. Следовательно, я еще не готов к смерти. И это меня удручает... Надо быть готовым. Всегда быть начеку. Жить интенсивно. И тогда смерть не будет такой непоправимой. А?

— ?!

— Я не шучу. Штейнер многое знал. Он был ясновидец. Своего рода... При известном режиме сна и питания каждый может стать ясновидящим. Любой может прозреть тайны сверхчувственных миров. Если он будет соблюдать. И надо жить полнокровно. Сочно. Я лично — за расширение познания здесь, на земле. Потому что там... кто знает? Все может быть. Жить надо тут.

— Он непротивленец?

— Штейнер? Да. Но не совсем. Он говорит: ударят в левую скулу, не подставляй поспешно правую. Подумай, оскорблен ли в тебе человек? Если нет, — пустяки, не стоит связываться. Уйди, не дерясь. Но если... Если в тебе оскорблен человек...

— А как узнать, оскорблен ли он в тебе?

— Надо иметь принципы. Если ты видишь, что попирается твой принцип, смело бей в морду. Только так.

— Но ведь на это нужно время. Чтоб сообразить, сориентироваться.

— Тебе — нужно. Мне — уже нет.

Помню, года три назад — шел дождь, поливал ленивой собачьей струйкой двор и прилегающие крыши. Травка во дворе совсем приуныла, и бродячая псина разлеглась в середине, подставив водичке блошиный животик. Дождик шел уже неделю, никто не удивлялся, все привыкли...

Мы сидели в полутемной квартире, со сводами, и сквозь зияющую там и сям занавесь смотрели на улицу.

Свесив обессилевшие ручки, Карлов вперился и окно и долго молчал. Потом, на меня не глядя, с ненавистью проводил глазами Любу, идущую в туалет, сказал:

— Я окончательно понял, кто мы такие. Нас всех давно пора убить. Во-первых, чтоб не мучились. Во-вторых,

чтоб не плодили себе подобных. Ведь мы размножаемся. Вегетативным путем, но все же... Чтоб не плодили идиотов. Мы все больны. Психически и безнадежно. В цивилизованных странах таких пристреливают. Мы — не имеем права. Всех нас нужно было стравить, как крыс! Да, да, — я в этом глубоко убежден. Но этого не делают.

— Ты думаешь?

— Сегодня был Токман — он меня доконал. Чья очередь завтра? Нет, так больше невозможно. Ты как хочешь. С сегодняшнего дня я начинаю умирать. Пора. Я не ел трое суток. А теперь мне уже и не хочется. И слава Богу.

К вечеру я зашел к нему. Он ужинал:

— Поздно. Я опоздал. Опоздал лет на пять, — сказал он, давясь хлебом. — Теперь это уже не имеет смысла. Поздно кончать. А ведь тогда был самый раз. Но я пропустил момент. А теперь поздно... Надо жить. У нас нет иного выхода. Жить и смотреть, что же будет дальше... Дальше обязательно что-то будет. Дальше всегда что-то бывает. Не может быть, чтоб ничего не было. Правда? То-то. Уж ты-то меня должен понять. Как никто.

...Жадно обшарив глазами жилище, заприметил тусклый иконостасик в углу и старушку величиной с куклу, скрюченную над вязаньем. Также заметил он спящего ребенка под лоскутным одеялом, чью-то челюсть и женскую, по-видимому, ногу, сонно отброшенную к стене. Они лежали тут еще с прошлого века, им было лет шестьдесят, и запах хорошего старого белья, плотно уложенного чьей-то ветхой рукой в комод, и непроветриваемых дореволюционных калош стоял в комнате, как вода в аквариуме. Со стен смотрели рукописные дьяволы и хорошо заштрихованные черти; какая-то нежить, напоминающая рисунки Доре, паучьими лапками держалась за паутинку, которая тянулась в гимназическое прошлое старушек.

Кошка открыла изумрудный глаз на пришельца, кровожадно зевнула и медленно повела хвостом. Ей было шестнадцать лет, она постоянно дремала на энциклопедическом словаре и следила за всеми. Он заметил изнеженный белый кошачий живот в рыжих подпалинах и розовые, недавно отсосанные соски. Кошка кормила и, по-видимому, была зла.

Старушки Чебукиани принимали радушно, приглашали всех к чаю. Чай был медленно разлит в чашечки образца 1880 года; сладко жмурилась кошка Нерон, выгибая порочную спину, глядя на гостя, смутно припоминая что-то.

Тут было хорошо. Можно было передохнуть. Дождик царапался в окошко, просился в форточку. Его не пустили. Семейство уютно пило чай. Старушки недурно играли в бридж. Карта шла, и он отыгрался. Ставки были невысоки. Старушки были говорливы, он умел их слушать.

— Скажите, Валериан, вы прочли мои философские эссе? Вам действительно понравилась вводная часть? Вы в самом деле не усматриваете там досадных повторений и мистики? Вы знаете, я там несколько отступила от схемы Соловьева-Немировича и перешла к мнимотрансу доктора Штейнера. Это было так увлекательно! Но теперь, кроме вас, это никому не интересно. Увы... У меня дама пик.

Глава 13

Берман плел свое кружево:

— Иванович неизгладим. Я ему отдаю то, что ему положено. Он для меня память. Как пример человека. И как уход от него... Тут одна специфика. Тут то, что он не дотягивает. До своих задач. Тут сложность. Однако... (Ты понимаешь...) Вчера я бродил после сна. Но это было в период сна других. Таких же, как я. Но других немного... Сон был у соседей Черемных. С которыми у меня отрицательная связь. Как связь с обиходом вещей, мне было понятно их бдение. Хотя в этом — бедствие. (Ты меня понимаешь...) В тот день улицы были пусты. Был сон разума. Как у гения. В часы пустоты и печали. Был час пик. Но со знаком минус. (Я не о том...) Когда спит разум... оживают... совершенно точно... — чудовища. Это заметил также Бодлер. В своей очень замечательной книге. (Ну, ты понимаешь...) Тогда в общежитии не было света. Был день авиации. Уже к вечеру. В общежитии со мной была женщина. Я ее нашел на складе, куда она спускалась за чулками своей подруги.

Веры. Там горела свеча. Я споткнулся о платье ее сестры. Все в цветах. И прочел на ее лице большое умение. Большое знание Блока и Пастернака. Было видно, что она читала Пришвина... Она очень пахла. Чулками своей подруги Веры. Ее понимание мне подошло. Еще внизу, когда мы искали пути наверх, к ней начал приставать один знакомый... пьяница из ниши. Я разбил ему голову бутылкой Кишиневского винзавода. Он истек вином еще к приходу местного шерифа... Когда я уже был далеко. В сыром саду моей соседки. Она живет у одной красивой незамужней женщины из Кировограда, подарившей мне Блока.

Глава 14

Ну вот и садок земных щей, земных наслаждений... Я увидел алтарь. Алтарь «Садок земных наслаждений». Правая створка. Кровавая свора псов. Сто способов убить. И быть убитым... Путь и ход. Веселый путь к смерти. И обратно. Как — я не знаю и не должен знать. Зачем?.. Я вижу алтарь. Земных псов. И огонь. Где горят и лопаются католики. (Господь все знает и простит. Да будет!..) О, Господи. Горят, как им положено. И бегут. Со сковороды на соседнюю. И в котел... Но до чего же несет паленой шерстью! И дымом, дымом над убиенными. (Спаси, Господи, души усопших и недобитых рабов твоих.)

Я не могу выбраться из этого сада. Я возвращаюсь, задыхаясь от гари и копоти, смрада. Я тот грешник, седьмой справа, в очереди на крест... Видите? Это я. Жду, когда подцепят меня горячим багром за ключицу. Уже близко... Светозарная мельница в центре картины. Так и пышет огнем. Озаряя садик... Раскорячив жабры, рыбка мечет икру. Алая человечья икра. И пожары. Многоярусное сожжение, содом. Адские круги под глазами у Босха. Прости его, Боже... Жарко в этом садке наслаждений. Куда ни кинься — горит. Прямо как в печке. Вот она, плавильня. Где веселятся с напряженными фаллосами черти. Ужели и я грешен? Ну и температурка в преисподней, доложу вам! И какой вой стоит окрест! Фабрика смерти. А у меня номерок болтается на узкой библейской стопе. Мне не уйти. (Какая мелочь,

однако, сгоняется вниз к реке с кровью.) Но мне не туда. Там топят голеньких грешников в кровавом озере. А они выбегают снова. Как оголтелые. (Я их понимаю. Нельзя жить в таком озере. Нельзя...) Мне направо. Туда, где вздергивают ведьм. Где уши, пронзенные стрелой, на взрезе ждут ножа. Где под ножом орет, как резаный, малек, из рыбного садка «Утеха палача». (Кстати, где палач?) Вот он. В капюшончике, спиной ко мне, подтягивает по ломкой лесенке в огонь алую женскую плоть, и треск и грохот вокруг, взрывы петард, фейерверк и шутихи. На гигантской волынке из свежего мочевого пузыря играет св. Иероним. Вокруг ночные пожары — свет смерти из тьмы, свист, падение сводов, и ветер из ледяных щелей неба. Рев и разруха. А из алого озерца встает мальчик с веточкой маслины в неживой руке, и мелкая чертовщина горошком выкатывается из картины наружу.

Я всем понемногу потрафляю. Всем потихоньку подмахиваю. Каждому незаметно даю... И вот — результат. Все у меня в кармане. Все в переплете. Я могу каждого перелистать перед сном, как память о лете. О днях былых и нынешних. С каждым перебросится словом. И сладко заснуть.

И пока я сплю, нехорошие сны душат моих современников и сожителей. И бродят в ночи их неприкаянные тени. Сны покидают просторный измученный череп Диаблова, и, пока его бездыханное от сна, бледное тело селенита покоится на диване, видения его гуляют по городу, забредают в дворы, долго стоят там, смотрят вверх, потом идут дальше...

Глава 15

В тот год нас одолевали предчувствия. Странная была в тот год зима. О, косноязычие Гриши Бермана!

— В год планеты, в год планеты. Когда встал обиход. (Ты понимаешь?..) Когда встали кони. Кони, такие рыжие кони. С ангиной. Как в аду. Кони с Куни-Айланд... Я шел через мост. Мост Пилсудского в Бендерах... В год планеты, в год планеты. Это надо знать. Кони с Куни-Айланд. В ту ночь потрясли меня... И жен-

щина сказала: «В год планеты сбудется все». Но нас уже не будет. И это было очень трогательно, очень замечательно. (Ты понимаешь?..) И я вернулся. В год планеты, в год планеты...

Были какие-то девки, чьи-то именины, кто-то говорил о Новом годе, был действительно Новый год, кого-то рвало в темной парадной; мглистый, мокрый, в сосульках вечер зажигал газовые рожки. На Пушкинской грязный снежок подыхал под ногами, лиловые сумерки затекали за ворот, с крыш текло... И уже бабьё, туго пропахшее духами и тонкой резиной, кровавыми ртами улыбаясь, спешило.

— Я узнал ее по скрипу чулка. У нее всегда туго схвачены ноги чулком. Это ее свойство. Оно мне любимо.

— Странно. Я постепенно освобождаюсь от системы его отсчета и прихожу, как мне кажется, к более верному представлению о вещах и событиях. Или нет?

— Раньше он тебя любил (и терпел), ты был у него как на ладони, был ясен, покладист. Он имел тебя в кармане... И вдруг ты исчез из поля его зрения, стал чужого поля ягодой. И перестал прислушиваться к его советам. Ты стал самостоятельнее жить в его глазах, перестал быть тем, чем ты стал. А это — непорядок... Ты перестал быть несчастником. И он на тебя обиделся. Он так и говорит мне: «Фима обнаглел, обзавелся Людой — и думает, что все. Это еще надо посмотреть». (Что посмотреть, *вус* посмотреть? Черт его знает...) Так что — зачем удивляться? И удивлять других? Я не знаю.

— Зачем тебе это нужно? Ты снова хочешь войти в туман блефа? Во имя чего?.. Но — дело твое. Меня это не колышет. Мое дело — сказать... Но с другой стороны — вас нельзя разлучить. Вы друг друга всегда предусматриваете. Ты меня понял?.. Вас связывают годы. Его больше. Он больше привязан к своему водопроводу, чем ты к своему крану. Прорыть во дворе канал — это проблема земли и почвы, и ему это ближе. (Толя любил толковать реальность, как сны... Толочь в ступе. Перетолковывать ее.)

Я часто подсовываю знакомым свои бумаги. И совершенно уверен в безнаказанности. Я знаю, *что* никто не может разобрать моего почерка. И я им смело даю.

Результат бывает поразительным. Они читают нечто совершенно иное, чем то, что там написано. Они импровизируют. На почве моих записей. И часто получается крайне интересно. Я бы так никогда не сочинил. (Они тоже.)

О, это может составить отдельную книжку! У моих юных друзей-модернистов успех был бы фантастическим. Надо будет им показать. В самом деле, почему бы не обрадовать молодых поп-артистов и ничевоков?.. Пора. Завтра же дам. Я давно их не радовал... Без Юры они гибнут. Да и он стал в последнее время что-то уж чересчур мало писать. И вообще жить... Нет, эту промашку я исправлю.

Но никто не приходит. Я подожду... Мне не к спеху.

Полупомешанные хиппи
По бедности немногих лет
Просили на духовный хлеб...
Я мог бы дать. Но где мне взять
На всех?

Глава 16

Художник страдал. Он страдал головными болями. Обмотав голову цветными полотенцами, возлег на подушки маленьким ханом.

— Ну их к ..., меня от всего от этого сламывает... Пришли два распиздяя — и подавай им работу. Я же для всех ищу, и я же должен ехать! Надо совсем не хавать в этой жизни, чтобы так думать. Нашли поца с Новорыбной и хотят попользоваться. Пусть сами повкалывают, а я на них посмотрю. Сами придут потом, суки, унижаться, но поздно будет. Я их тогда пущу по самой низкой расценке — будут мне рамы красить, а я смотреть. И лаком покрывать. А вместо гонорара — запах останется. Для памяти... И сколько клялся я с ними завязать — но от благородства себе же хуже. Правы те, которые линяют и не путаются у себя под ногами. С ними, так или иначе, будет полный поц. Так зачем же ждать? Не пойму. Их не разберешь. На какие единицы они считают время? Уже в Египте, блядь, давно поняли, что сутки делятся на двадцать четыре часа, а у этих — дикие понятия об астроно-

мии. Меня ломает, когда я вижу их потуги решить пару живописных задач, не имея клея и подрамников. А за инструментом ко мне ходят. Скоро попросят колорит одолжить. (Извини, я тебя отвлек, а тебе это на фиг не нужно. Тут кило водки нужно сожрать, чтоб разобраться...) Это какой-то сычовский романтизм — думать, что с голубым пером и в фиолетовом берете можно ходить по улицам, а горожане расступаются. Я доволен, что у меня с детства таких картин не было. Поэтому я и на камыш не поеду, и из фонда меня не вытурят... Попробуй меня вытурить, если я там никогда не был! И свобода меня в этом мире держит... Чаю выпьешь? От кофе меня колотит.

Глава 17

А ведь было время, когда Петя, еще не охваченный культовым дурманом, проповедовал модернизм и хитрости геометрии и гомеопатии в поэзии:

— А вы все поцы, поцы, — поклонники классики, идиоты. Надо писать так, как пишу я. Или чуть хуже. Все равно это будет хорошо.

И в его тысячесловах, уродливо разросшихся во все стороны поэзах и поэмах (в двадцати четырех частях), в этих коралловых образованиях, где воссоздавался, по мере сил, пердящий, пукающий, блюющий на самое себя город, в этом монотонном эпосе канализационных труб и рыгающих в дождь инженеров — попадались очень внятные строчки, написанные к тому же едва ли не в ритме римских элегий какого-нибудь Проперция (о чем Петя вряд ли подозревал):

На улицах, за окнами
грязь, фонарь, темно...
Там ливень все облил вчера.
Сергей Иванович в кровати сам один...
Он курит, курит, курит...

Или:

Землетрясение в Ташкенте.
Убийство Кеннеди.
Событие за много лет —
единственное в этом роде...

Или:

Жалели... Жена. Нет детей
Идиот. Сорок лет.

Или:

Минута мозга и минута стрелок...

Непрожеванный Маяковский свисал порой с усов поэта. Проглоченная наспех информация трудно выползала ливерным калом, инкрустированным арбузными косточками, кукурузными зернами, ложилась золотыми рогалями в свежий бурьянный пустырь.

...Теперь не то. Петя изменился. У исхудалого язычника появилась категория совести. Господь витал над грешным миром. А это значит, что не все пропало. Жить можно. А писать — это третьестепенное. И Петя искал работу.

Потом он говорил:

— Когда вечером я пробираюсь сквозь горячие, забитые густой человечиной трамваи, протискиваюсь сквозь рабочий пот, прохожу сквозь и через отработанный шлак, вообще, когда я еду домой и за стеклами в сумеречной воде города проплывают женщины и дети, старики и старухи, просто люди и милиционеры, — тогда я ежусь и боюсь. Мне кажется, что я в аду. Да, да — мне кажется, что я уже в аду. И нет возврата... Но утром я снова просыпаюсь на райской земле и никуда не выхожу. Потому что знаю: на улице ад, и я сижу дома и жду. Я пишу стихи, читаю книги и жду. Жду, когда же, наконец, пойдет дождь и смоет эту пакость и падаль, и можно будет дышать.

— Петя, ты странно смотришь на мир. Тебе должно быть нелегко... Хотя, с другой стороны, именно тебе легче. Легче на все плюнуть. И пойти своей дорогой. Своим путем... Верно?

— Я почти написал поэму. В ней будут двадцать четыре части. Будет двадцать четыре... частей... Там целые сутки. Каждый час — часть. А? Я уже пишу шестую... Я принес тебе первую часть моей гениальной поэмы. Читай!

— Спасибо. Ты настоящий товарищ. Читай-ка сам. Ну-ка, ну-ка...

— О том, какие мы уроды... Потом я буду за вас молиться. За ваши заблудшие души.

Глава 18

Болел я. Пришел Гриша, принес с собой изморозь на высокой боярской шапке, уличный румянец, свежий запах не выпавшего еще снега.

Принес мне в постель свои впечатления о прозе Цицерона, но зачитал почему-то Пастернака: «*Весна. Я с улицы, где тополь удивлен...*»

Посетовал на школьную нагрузку, стерву-завучиху, вонючие поурочные планы, обезумевших от бесконечного учебного года детей... Но был, впрочем, полон спасительного оптимизма, видел поэтические сны, горизонты, доверял солнцу, земле, покою... Провоцировал на прекрасное. Я поддавался, что-то читал, Гриша предвкушал, внимательно слушал, подставляя якобы глуховатое ухо... Потом ходил по комнате, трогал пальцами вещи, выуживал из книжного хлама мои рисунки, с преувеличенной осторожностью клал на место (знак недобрый), снова ходил по комнате, потирал ручки, недоверчиво заглядывал в зеркало. Поправлял гриву, одергивал пасхальный голубой костюм, требовал стихов, рассказов, эссе, читал свои. Проказничал. Воскресное утро распирало его... Потом мы написали рассказик. И стишок:

Хочу в Одессе, не старея,
Жить между делом и вином
И православного еврея
Воспеть ямбическим стихом!..

Сладко мы шутили с Гиршем в ту осень. Теперь не то.

Глава 19

Ливень. Дождь...

Дождь, связующий воедино все дворы и парадные, навесики и крыши. Дождь так и хлещет. Дождь воет, поет в переулках, фильтрует водостоки, свистит в ушах

города. Заливает подвалы, вымывает окраины, сносит рухлядь и старые диваны, древесный сор и мусор, дачные туалетные дверцы — вниз, по рельсам, к Хаджибею. Кариатиды подставляют под дождь бессмертные для поцелуев лица, слепые греческие глаза... со дна морей. Цветущий одесский дождь гуляет по мостовым.

Белые лошади мочатся у Привоза. Дождь.

Толя Морозов у моря. Гуляют с Гиршем. Осень. Обрыв. Красная глина. «Здесь закололся Митридат».

Пустынные пляжи. С обрыва мочится в серое море одинокий прохожий...

Толя М.:

— Каждый добавляет, что может... Каждый вносит в мироздание что-то свое.

Пушкин... Осень, уже другая. Август. И ветра первые набеги.

Поездка. Михайловское... Поезд. Псков, вечер, бляди у фонарей.

...Холодно.

Монастырь.

Трапезная.

Монахи.

Река.

Камни.

Закат.

Потом — северный дождь. Две смуглые девы прижались ко мне (и друг к другу), в капельках воды. Волосы пахнут ушедшим летом.

Старое дерьмо несет ветер... Ноздреватое, полое, почти пустое, оно легко летает над землей. Не оскорбляя ее, — совсем наоборот.

Глава 20

Потом Клингер, жалующийся на то, что у него слишком развита, как он говорит, *свистельная железа:*

— Я не виноват. Так уж получилось... Кроме того, ты видишь перед собой человека, у которого за спиной шесть неоконченных вузов. Шесть! Павел говорит, что

этого мало. Не знаю, мне хватает. Что делать? Это мои университеты... Я много свищу. Это правда. Разговоры — мой конек. Мое хобби. Мое орудие производства. Если угодно, орудие воздействия (и возмездия). Здесь мой квартал. Географически (или топографически) он узок. Но фактически — достаточно широк. Диапазон вопросов, которые я здесь курирую, практически необъятен. Говорю без ложной скромности.

Глава 21

Сны теснят мою жизнь. Бедная, убогая жизнь уступает им, и могучие сны раскованным действом и мощным сюжетом топчутся по моей голове.

Между тем, сны моих друзей не дают мне покоя. Сны моих друзей не давали им покоя.

У меня сны какие-то, черт их знает, узкопленочные, любительские, всегда черно-белые — не сны, а одна видимость. Часто размыты очень. Вижу их как сквозь дождь. В общем, не то. У них они другие: глобальные, широкоформатные, цветные, крупным планом и хорошо озвученные. Там все смешалось: тетя Геня и президент Макариос, родные молдаванские улицы и астральный пейзаж Кассиопеи, картофельные грядки Дофиновки и апельсины, извините, из Марокко... По-моему, они меня морочат. Нет у них таких снов. Все эти припадочные видения и исторические намеки, эти спиритические сеансы, дефлорация девственниц из клуба кинопутешествий, цветные наплывы, эти диктующие из гроба фараоны и якобы авиационные катастрофы, все эти оперные декорации, загорающиеся от одного взгляда — просто бред замученных неизвестностью людей, которым нужны мои впечатления. И они на себя наговаривают. И себе ужасаются.

А Гриша со своим скромным сном, где он сидит и тужится на пустой базарной площади в Кишиневе, где сумерки и ему стыдно, потому что разъехались телеги — Гриша со своим сном может заткнуться. Он у них не проходит. А напрасно.

— По-твоему, так у Гриши даже сны лучше, чем у нас? — накинулся на меня один друг. — Тут ты себя вы-

даешь с головой. Не понимаю, чем тут можно восхищаться... Ну, допустим, Паша Бенц — так он мудак, ему простительно. Но Шурик?! И ты — тоже, туда же... У вас какая-то подозрительная симпатия друг к другу. А ведь все вы заблуждаетесь! Да-да. Заблуждаетесь относительно друг друга. Один я знаю цену, потому что все-таки смотрю со стороны, и мне виднее... Сны! Подумаешь, сны. Я тебе такие сны порасскажу, что места не хватит (на всех). Хочешь?

Но я не захотел. Я устал. Я хотел домой.

— Главное — видеть цветные сны, — говорил он. — Цветной сон — признак породы. Верный знак шизофрении, таланта, склонности к пороку, к безумию. Это — проверено. Черно-белыми снами я бы на твоем месте не гордился... Поговори с Юрой. Он тебе расскажет свои. А Гланц растолкует. Тогда ты поймешь толк.

Глава 22

Аркаша стал встречать гостей в потных лыжных штанах, запустил маленькую возмужавшую пятерню в распахнутую волосяную грудь и говорил о негативах и позитивах. Поддержать этот разговор мог не каждый. Но многие старались. Это была та преамбула, без которой разговор мог вообще не состояться. Некоторые старательно готовились. Выписывали журналы «Советское фото», «Вестник фотокора».

— По-моему, он стал дорожить временем больше, чем собеседником. А?

— Вот тут он прав. Хотя это и хамство Нет?.. Да, он изменился. Перестал суетиться. Стал напорист в своих фотографиях. Стал что-то знать.

Сам же объяснял себя так:

— Кем я был раньше? Мальчиком для всех, уличным прекраснодушным искателем интересного. На самом деле я ничего не делал. Я просто узнавал о том, что делают другие. С этим я решил прочно завязать. Надо работать. Вот что я неожиданно понял. У человека должно быть дело. Дело, которое приносит ему ощутимую пользу.

— Дело, которому он служит?

— Не пошли.

— А пользу материальную?

— Всякая польза материальна. Даже духовная... Только тот, у кого есть подруга, работа и очаг, имеет право жить. У меня это почти есть... Три инстинкта. Их надо удовлетворять. Иначе непонятно, зачем все?

— Какие же?

— Охота, самка, потомство. Все прочее — гиль, — (Аркашу понесло.) — Фрейд тысячу раз прав. И возражать ему бесполезно. Потому что он назвал главное. И обосновал. Советую почитать.

— Да-а. Ты основателен... Ну, и как у тебя реализуется эта троица?

— Очень просто. Я работаю, значит, иду на охоту. Добываю пищу. Если угодно, огонь и шкуру. Обуваю своего детеныша. И я горд.

— Ну, а жилище?

— С жилищем худо. Тут я еще не достиг...

Глава 23

Как-то набрели на больную тему. Игорёк спросил меня:

— Как ты можешь работать в школе? Как можно так долго скрывать свое безумие? Скрывать то, что ты сумасшедший?..

— Да, это тяжело. Не представляешь, как это трудно. Пот просто градом. Ученики, мне кажется, только к концу года догадываются. Да и то не все. Сразу, сначала — мне удается их огорошить.

— А администрация?

— Она чует это, по-моему, с первого взгляда. Но если у меня на руках приказ... Впрочем, я думаю о ней слишком хорошо. Как правило, она очень слабо ориентируется в тонкостях... Но чует, что я чужой. Другой.

— Н-да... А коллеги?

— Вот с коллегами дружен. Тут отношения, если они есть, более человеческие.

— Ну, естественно. Потому что они тоже чокнутые. Каждый по-своему, разумеется. Кроме отпетых гадов. Те нормальны... Но как все-таки тебе удавалось так долго продержаться?

— Разве это долго?.. Вообще не знаю... Иногда урок совершенно невозможно довести до конца. А ведь надо. И я старался. По-моему, они видели, как я мучаюсь. Это тяжело скрыть. Часто к концу урока я вообще не соображал, что происходит. Но какие-то стереотипы срабатывали. И все как-то шло... А в мозгу ужас какой-то. Мне кажется, я работал с ними только маленьким кусочком мозга. Все остальное не использовалось. Остальное гуляло где-то на воле, в деревьях. В иных местах. Если бы я включился полностью... я очень часто хотел... было бы лучше...

— Для кого?

— Для детей, конечно. И для меня. Нет? По-моему, да. Теперь я думаю, что да... По крайней мере, я бы жил. И они бы тоже начали жить. Хотя они всегда живут больше, чем учителя. И главное — дольше. Ну, это другое... Короче говоря, меня изматывает этот постоянный контроль над собой. И над ними.

— Брось. Если бы его не было, знаешь, что было бы? Дети бы выбили стекла, спустились бы по водосточной трубе, директора бы повесили сразу, а любимых учителей заперли — и подожгли бы здание. Выпустили бы одну тетю Клаву. А ты говоришь...

Глава 24

Толик мне объяснял:

— Я стал трудно жить, Фима. Я стал непонятен самому себе. Хотя внешне все кажется не таким. И подчас я выгляжу обманчиво... Но я перестал видеть путь и пути. Встречаться сразу с четырьмя женщинами — это мой минимум, ниже опускаться я не имею права. Но это же ужасно! Ты понимаешь? Ужасно! И вот так я живу двадцать восемь лет, без звезды в голове. Это не каждому дано... Жизнь меня заносит в уютные чистые квартиры с белыми обеденными скатертями и фруктовыми вазами, с каким-то ритуалом, с чаепитием. Это мне вновь, и я этому сдаюсь. Пока. Там, на паркетных полах, находится место и для меня. Я отдыхаю... Но я бездельничаю, я не работаю, мне нужна командировка, дождь, наладка деталей. Дело. Хотя я и ухитряюсь, сидя тут,

чинить кастрюли (дома), ухаживать за бабами, одновременно вести переговоры, зарабатывать деньги и писать сценарий! И все-таки я не у дел... Меня несет, я же — в стороне. И это меня мучит. Мои мозги где-то работают, а душа спит отдельно. Как это может быть? (Когда я плыл по Волге, мне все казалось иначе. Как видно, надо больше бывать на Волге. И чаще плыть к ее низовьям.)

— Я познакомился с одним дегустатором, — сообщил Степаныч. — Из офицеров. Он из Луцка. Занятный тип. Интересуется Кантом. Пишет стихи. Работает *членом-корреспондентом* в «Вечерней Одессе». Пишет о коммунальных квартирах. Очень занимательный тип... Вчера я с ним пил. У него — брат двоюродный, механик, в Ростове. От него жена ушла (от брата). Много мне рассказывал интересного... А в Одессе жить не может. Хотя хочет. Страдает водобоязнью... Но дегустирует — художникам нечего делать! Так вот, он сейчас банщиком хочет устроиться. Хочет познать жизнь во всей наготе. Я ему обещал помочь... Но стихи невероятные. Представляешь, пишет в стиле Юры. Но хуже. Вчера меня зачитал. Я еле ушел... Но кадр редкий. Как он меня только нашел? Меня все находят. Это все потому, что я умею слушать. Страшное свойство.

— Ты должен обязательно закончить свой фекальный рассказ. Ты меня возбудил, и я хочу продолжения. Не забудь в нем своих друзей.

— Не бойся, не забуду... На днях Клингера видел. Спросил, видел ли я Ленца и Климакса. Это его дежурный вопрос. Сказал, что пишут сценарий, на продажу. «Любопытно, говорю, а я и не знал». «Ничего особенного. Конструктивный тыныф. Но за гонорар. Как же так, ты не знал? Фимочка, я тебе удивляюсь. Я вижу, они тебя держат на голодном пайке» — «Да. Действительно, Саша. Над этим стоит подумать». — «Ты Додика не видел? Мне нужен Додик. Додик обещал мне стекло. Для объектива. Я жду его два года. На одном и том же месте. Но он меня обходит».

Глава 25

Юра написал письмо друзьям:

«А, это вы? Привет, привет! Это я. (Как видите...) А вообще мне непонятно, зачем надо писать письма. Странно. Пишут и пишут. А зачем? Если не платят и все такое. Можно и так понимать друг друга. Мысленно. И жестами. А на расстоянии — то же самое. Я так думаю. Обычно я так.

Ну, здравствуйте. Вообще привет. Мне всегда странно, когда пишут. Но тут пришли Рэй с одним пианистом (знаете поэта Рэя? Его все знают), а пианист уже несколько лет сидит на полу, но это неважно, — и уговорили меня написать. А о чем? Но я решил им сделать приятное — и вот результат. Пусть вас не смущает, что я так, вдруг. По-моему, все надо делать вдруг... Это грустно.

Как поживаете? Как там этот... Ефим? Он напрасно не живет в Одессе. У нас в Одессе все не так. Все иначе. Удивляюсь, чем вы там дышите. Мы дышим испарениями одесских лиманов. А вы?.. Вообще он меня удивляет. Перестал жить. А зачем? Странно... Вообще, суета сует. И все такое... В Одессе бум.

Здравствуйте. Я все не о том. Я вам анекдот хотел рассказать. Про Гудериана. Но это неинтересно. Лучше про белый катер... «Смотреть на ветер, белый катер...» — вот что нужно... Или в Японию уехать. Там женщины — совсем иные, и совсем другие правила жизни. Как это бывает иногда там... А стихи Рэя про аэропланы мне уже приелись. Он — скучно. А вы — нескучно. Я потому вас приглашаю к себе на маршальский банкет. На 31-е. Это уже будет в августе. Когда дело будет к лету.

А как у вас? Я и так уже отсырел в марте в Одессе, и город мне не показался. А вам? Вообще приходите.

Здравствуйте. Никак не могу начать письмо. Лучше, конечно, писать про сексуальное. Сейчас все думают про сексуальное. Но — нельзя. Герасимов не позволяет. У них там целая свора, и говорить не хочется... Скука. И ложь. Противно... А все мои друзья постарели. Грустно. Нигде, никогда, никуда. И прочее... А Диаблов хотел уехать. Но по-моему, он нас всех разыгрывает. Я вчера с ним советовался — поступать ли мне на биологический. Но он не знает. У него халтура и все такое.

Удивляюсь, как вы живете в Сибири. Я думал, там уже никого не селят. Странно. По-моему, во Флориде лучше. Но это как кому. Все пустяки и суета сует.

Женя Голубовец пишет картины. А его жена позирует другому. И это никому не известно... А вообще приезжайте. У нас много грузинов и милиции. Но для Одессы это ничего.

Вы мне нравитесь.

Юра (и прочее...) 0.15 минут».

Глава 26

Анатолик рассказывал:

— Историю их отношений я знал давно, но я не знал, как это обернется. Но это обернулось той стороной, какой надо. Короче, Гриша Бергман познакомился с ней еще тогда. Такая себе толстая Лена, из неглупых, настырная. Наверно, в ней что-то было, раз так. Она ходила вокруг него, а он ее вовсе не любил. Но она имела его в контакте между собой... Однажды, когда ему стало плохо от одного вина, она водила его в туалет, где он говорил с ней о литературе. Вообще, ты помнишь, Бергман был мало похож на мужчину, мировой стандарт ему не шел, — хотя мужичком он был... Но вел он себя подчас, как мужчина. Она окружила его своей заботой о нем, как стена. Она настолько умело входила в его мир — конечно, только по виду, — что принимала его косноязычие, как льющиеся речи... В одном доме, где пели гимны, они музыкально общались. В чем был секрет, нам было неясно. Просто она видела в нем умного человека, и ей надо записать это в заслугу. Короче, у них дело чуть не пошло, но они разминулись. В конце концов, она его нашла. И у них, по-моему, все удачно. Но где?! Там! Описать такую дугу — и добиться своего. Это ее маленькая женская победа... Однажды Гриша заразился. Такой орел, как он, и вдруг заразился гриппом! Как его лечили — это загадка, но не для меня. Его лечил Гена. Здесь он перестал быть ветеринаром. Тут ключ к образу Гриши. Он ему сделал три укола. Первый укол в парадной. Один — у Дублоныча на кухне. И последний укол — в подвале. Это было все, как в литера-

туре, только немножко не так. Во всяком случае, все обошлось как нельзя отлично... А теперь его замечательные стихи «Звезда провинции российской, моя звезда!..» А? Ну, ты помнишь. Это замечательно. Или: «Там летает голубь долгие годы...» Или: «Сидят инвалиды, обувь шьют...» и так далее. Такой он человек. У него все едино. И все по-своему замечательно... Теперь он далеко и счастлив. Хотя написал грустное письмо. Но это еще ничего не показывает. Грустное письмо может случиться с каждым из нас. Правда, Фимоза?

Глава 27

Постучали. За дверью стоял высохший от поста Петя. Петушок оброс бородой, на теле у него вырос крестик, глаза были заплаканы. Слабо улыбаясь, он сказал:

— Здравствуй, Ефим. Это я. А я не один.

— С кем же ты?

— Я с человеком. Человек, входи. Человека зовут Петр.

— Он апостол?

— Еще нет. А как ты догадался?

— Так.

Молодой курчавый римлянин, цветущий мальчик из евреев, вошел.

— Он тоже поэт. Он принес стихи. И одну повесть. Она называется «Остаток». Он дает ее читать.

Мальчик, по-моему, обладал сокрушительным здоровьем и сразу мне понравился. Слабым мановением руки Петя дал знак читать. Но гость не стал и протянул свиток... Повесть оказалась крайне интересной. (Но об этом в другой раз.)

Глава 28

Помню, шли мы как-то развалинами. Новостройка поросла травкой. Мы искали незнакомый дом, к кому-то нам надо было зайти... Были Толик и Сережа. Перескакивая через камни и балки, мы говорили о литературе, о своем месте в ней, о литературных местах. Начина-

лись сумерки, свистели птички, в деревьях начиналась склока, истерически крича, бежали мимо нас вспотевшие дети. Сережа только что написал балладу об управдоме и о члене одной очень важной комиссии. Помню начало:

Член одной очень важной комиссии
за плохое отношение к своим обязанностям
был найден в кустах весь описянный
и крепко ремнями связанный...

И так далее. Прелестная была баллада.

Мы долго молчали.

— Ребята, я знаю слово, где есть шесть согласных подряд. Шесть! Ну, кто возьмется? — сказал вдруг Сережа.

— За что?

— За это слово. Кто возьмется его угадать?

— Н-н... не знаю... Мы сдаемся.

— То-то же. Хотите, скажу? Внимание!..

— Ну, не томи.

— ВЗБЗДНуть!.. Ну как?

— Да-а.. Просто поразительно. Как ты его нашел?

— О!..

— Подари мне его.

— Дарю, — (Серж был щедр.)

Темнело. Искомого дома все не было.

— Мы зашли в паскудные места, ребята. Раньше этих мест тут не было видно. И вдруг они стали... Фима, что это значит?? Тут нет ни одного окна. Где фонарь? Это какое-то Карлово поле. Мы зашли в гиблое место. Куда ты нас завел, Сережа?

Сережи уже не было. Он исчез.

Глава 29

— **В**лизоточечные влагалищные немощи я в ней приметил острым взглядом... диабетика. Ну, как?

— Крепко. Ты очень наблюдателен, Анатолий.

— Но эту тему уберем. Меня волнует другое: как превратить прозу в драматургию слов. Еще не зная о чем, я начал писать несколько пьес. Я ими захвачен.

Игорь тебе расскажет сюжет... Еще один день — и мне станет даваться диалог... Вообще, я написал радиопьесу. Но об этом завтра... Мой роман сел в тупик. Я думаю о том, как попрощаться с прозой. Ненадолго. Но я с ней решил попрощаться. Это освободит мой головной мозг. Нет? По-моему, да... На днях я прочел Грина. Что тебе сказать? У него сильный аппарат, но слабый итог. Чтобы быть (и стать) — а он бы мог — крупноклассным писателем, ему не хватает мудачества. А? Тут долгий разговор... Он должен был поглупеть. И не успел.

Потом была беседа о средствах и способах письма. Толя делился первозданными открытиями. Горячим паром только что сделанного... А Олежек взял и рассказал анекдот некстати. «Чтоб разговор поддержать», — объяснил он. И Толя, доверившись нам, кажется, решил обидеться. Хотя понимал.

— Ребята, начинается тыныф. Вы стали говорить про фуфло и повидло. Мне это не подходит. Вы надо мной смеетесь. Хотя я знаю, что нет. Но мне это уже мешает. Все.

И Толя замкнулся.

— Брось! Ты же видишь, что мы тебя понимаем. Это же не в твоем стиле. Продолжай.

— Оставьте эти ходы себе. Я им не поддамся. Кончим на этом и с этим. Не сегодня...

Толя был неумолим... Дождик прошел. Он намочил тротуары, освежил светофоры. Сделал все, чтобы квартал Привоза заиграл к ночи всеми своими камнями, как дорогая вещь.

— Но все-таки, — не унимался я, — ты что-то должен добавить. Ты же хотел...

— Я же сказал, Фима. Все. Я перевел стрелку. И мой вагон ушел не туда... Мне он стал в тягость. Как и вам.

— Да нет же, ты ошибаешься... Олег внимательно изучал Толин чуб.

— Не смотри на меня, как летчик-испытатель.

— Толичка, ты прелесть! — Олежек обнял Лунца.

Из парка дул ночной ветер. Пробегали озябшие парочки... От ветра еще пуще разгорались рекламы магазинов «Тканини» и «Семена». И «Продовольчі товари».

— Лучше просто — «Волчьи товары»... Представляете?

Шел мимо нас церемониальным гусиным шагом странный сосед Папиросов, в парусиновых тапочках обходил неоновые лужи, в глазах его поигрывали звезды.

...Между тем Фрейд как в воду смотрел. Сексуальные неврозы витают над миром по-прежнему. Загнанное в подвалы либидо хочет объявиться. И тогда появляются менструальные поэмы и циклы, чудовищная живопись маслом и гарью, чахлая мозговая лихорадка, неверные шаги, срывы, закупорка вен, диабет, онанизм, скука. И дикие выходки постаревших юношей, скандалы дома, случки в парадных, топтание на месте, зуд, тараканьи бега... Начинается гниение подробностей. Сны... Нехорошо.

Глава 30

— Когда о. Павел мне стал рассказывать о ней, картина достигла своего насыщения... Тут потянулись богемные люди. К которым, как ты знаешь, я никогда не тянулся. Но это к слову... Из его рассказа всплыл Нолик. Он должен был возникнуть и всплыть. Я его предчувствовал... Все эти блики легли в одну масть. Я получил объем. Я стал знать о ней все. А это всегда ни к чему. Но в тот момент это стало идти мне на пользу. И так далее... В результате ствол дал ветвь. Теперь она зацвела... По-моему, все идет правильно. Прожиточный минимум я имею. Но мой роман мне не дает покоя. К сожалению, у меня нет коробки передач. Я двигаюсь медленно. Все это — стоя по колено в воде моего романа... Ты должен меня понять. Появившийся в моей жизни Набоков путает все карты. Он стоит у меня как пример. А этого я не люблю. Мне нравится творчество беспримерное. Поэтому я стараюсь поменьше читать... Как тебе мой Барсуков?

Глава 31

Недавно говорил по телефону: с Мишей о Грише и с Гришей о Мише. Было интересно. Тут же сообщил об этом хорошему другу.

— Вот как? Засунули палец друг к другу в жопку — и довольны?

— Ну почему же? Это не так. Просто было о чем сказать.

— Сомневаюсь. Маразмируешь, вот что. Взял на прикус Гришу — ах, вкусно. Взял Мишу — ах, горчит, но все равно вкусно... Маразм — и все тут.

— Н-ну, не скажи, не скажи. Как ни говори, я все-таки...

— Знаешь анекдот? «Хаим говорит: твоя жена — б...» — «А твоя?» — «Ну, все-таки...» Так и у вас. Вообще, я подозреваю, что вся эта дружба у вас на национально-интимной почве. Да-да. Очень на это похоже. Надышали себе атмосферку — и дышите. Маразм все это. Шире надо жить, свободнее!

— В самом деле, надо жить свободнее? А как?

— Дело не в этом. Я им отдаю должное. Они все интересны в своем роде. Но торчать на них я не намерен. А ты меня заставляешь, ты меня неволишь. А я не хочу. Я хочу иметь свой воздух. Как сказал бы Толя и был бы прав.

— Толя был бы. А ты?

— И я был бы. Я уже прав... Как-то Шурик написал Мише письмо — из Одессы в Одессу! Был у них такой период. Так вот, в одном из писем Шурик нарисовал себя в таком изогнутом виде, так, что голова пробивает грудь и выходит оттуда, из зада — и надписал: уважающий тебя через жопу Шурик... Конечно, шутка хорошая, купить можно — но Шурик, как честный человек, не совсем шутил. Вот это уважение друг друга через попку мне и не нравится... А мы и рады. Изощряемся. И лезем друг к другу в душу по схеме этого рисунка и обратно. И этот путь любим описывать. Ловим запашок гниения, как высший кайф. Кому это все нужно? Во всяком случае, не мне. Может быть, тебе?.. И тебе нужен сообщник? Ищи его в другом месте. А меня не впутывай.

— Да, тут он тебе не сокурсник, — сказал Ленц. — И ты ему не сожитель. Но зато я ваш соучастник. А?.. Фимоза! Помиритесь и идите на пляж... Свое литературное здоровье надо беречь, а не запускать, как это делаете вы. Но не я. Черешня мне не брат, а Гриша не отец. Зато я им далекий внук. А вы — братья (по отцу). Зачем же споры?.. Не надо говорить того, чего не надо говорить. Загорайте,

как это делают себе все люди со здоровой психикой; и вам станет понятен весь секрет. А он в загаре. А?..

— Ре-бя-та! Купите себе сметаны — и все. Самое важное — закалка тела. Все долгожители — многоженцы, а не наоборот. Во всяком случае, Томас Вулф умер не без причины. Умный писатель так вот не умрет без дела, ни с того ни с сего.

Глава 32

Вот и звездочка затеплилась наверху, вот и слава Богу. Потеплело где-то там, в вышине. Кончился этот страшный декабрь. Кончился, ушел, сгинул — с ночами, полными мрака и ветра, и грязной бахромой снега на крышах, мертвым, цепенеющим месяцем, когда еще царила зима и зимний земной шар катился с ужасом в сумеречную темноту дня, в беззвездный мрак и холод ночи, в тьму подворотен и преисподней... Вот он и кончился! Затеплилась первая звездочка — заплакала вода, ледяной свод дрогнул — потекла за ворот первая капля талой воды. Вот и звезда задрожала над миром, и глаза мои уже там, наверху... Это успокоение. Пойду к Мишелю, принесу благую весть...

Вот уже и январь. Это конец зиме, конец... Земля повернулась. Что-то произошло. Что-то случилось в мире... И так страшно было жить в декабре. Вот он и кончился. Как-то мягче стало в небесах, что-то всхлипнуло в вышине, дрогнуло — кто-то расплакался, раскаялся... И зима отпустила город. Там, наверху, пролетело весеннее божество. Скользнула тень неземного крыла — и стало тихо в природе. И вечерние окна зажглись иначе — с надеждой... В лицо мне какнула птичка еще ледяной и горькой зеленью, но уже с первой весенней икринкой — нежной каплей тепла. Пойду, пожалуй, к Мишелю, принесу благую весть.

Пойду к телефончику, наберу пальчиком зазябшим номерок, подышу в эбонит трубочки, согрею теплым овечьим вздохом ледяной диск, затуманятся цифирки, а я все равно увижу при свете звезды, наберу номерок искомый, буду ждать ответа, топтаться в заблеванной будочке, дышать водочным перегаром, проспиртованным

душком привокзального квартала, где у ханыжек из теплых мокрых ртов нестойких сигают к небу синенькие алкогольные огни. Погрею в кулачке трубку и услышу отзыв (пароль). В мокром, тающем стекле плачет, весь в кровиночках семафорных, город. И напрошусь в теплую паркетную комнату, к Мишелю... А ночью пойдет снег, первый или второй в этом году, повалит снежок, засыплет будочки и кровельки, церковки и луковки, трамвайные пути.

И из трубочки Мишель пригласит пить чай. И, ведомый мокрой весенней звездой, я пойду... Пойду с благой вестью.

А потом от Мишеля я позвоню Гиршойхету:

— Давай — ронять — слова... — начну я.

— У телефона? — спросит Гирш, слегка не понимая.

— «Я слово позабыл, что я хотел сказать...»

— Фимочка? Привет. Ты забыл сказать «Здравствуй». Что же ты пропал? И голос у тебя сел...

— «Во всей Италии прекраснейший, умнейший, любезный Ариост немножечко охрип...»

— А-а... — потеплеет Гирш, узнавая. — «Ты наслаждаешься перечисленьем рыб и перчишь все моря нелепицею злейшей?»

— «В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея...»

— Фимочка, «не искушай чужих наречий».

— Что делать, если «на языке цикад пленительная смесь...»

— «Из грусти пушкинской и средиземной спеси»? — спросит меня он.

И тогда я перейду на прозу, не выдержав напора:

— Привет, привет... Это я.

— Откуда ты звонишь? Случайно не «с улицы, где тополь удивлен»?

— Нет, я из тепла, из комнаты Мишеля... Пью чай. Пьем чай и говорим о Шурике. А ты?

— Да так, ничего. Читаю. Вот книженция любопытная... Поршнев. О происхождении человека и мироздания. Заходи. По вечерам мы принимаем... Мишелю привет.

— А сегодня Рождество Христово. Знаешь? И пахнет весной.

— Да, да, у нас тоже. Просто совсем меняется воздух... Правда, довольно холодная весна. И «голодный старый Крым, как был при Врангеле — такой же виноватый...» Спасибо, что позвонил. Приходи. Маме привет. Звони... Привет Мишелю.

Звони... Звони... Звони... — как эхо.

Глава 33

Братец мой. Бедный дурачок. А вот, поди ж ты, живет полной жизнью. Да-с. А ведь страшен же, особливо когда гости. Орет, обливается потом, радуется, приглашает налечь — голос густ, туп, дик, глаза на выкате, смеется дурацким хрюком и горловыми, грудными выстрелами в гортань и обратно. Он безумен — вот что думаешь, глядя, как он гребет, гребет руками гостей. «Гребите, — вспомнил я, — гребите смолоду...» Что это? А ведь душевный человек, если так, помимо гостей и вообще... Я не знаю. Страшно вспоминать то, чего не было никогда. О Господи!

...Вот я и проснулся, и сажусь на постели. Как видно, вся эта жизнь мне приснилась.

Я всегда сажусь под прямым углом, если на живот давит съеденное. А оно давит. Я люблю поесть перед сном, часов в двенадцать, а то и в два. Погружаю голову в холодильник, стою так и ем — что попадется. Но уж не отхожу, пока не наемся. Тоже, поза, наверно, влияет — стоишь так, согнувшись, наедаешься. А потом — сны. Давит — и я просыпаюсь, сразу, как от толчка.

Сажусь на постели и испуганно смотрю в окно. Там тьма, ни фонарика. Вообще, ветер, холодно. И все такое. Света не зажигаю, сижу так, голову свесив, и сплю. И животу легче. Так проходит час.

Вообще, я стал по ночам обжираться. После прогулки по сырому городу, наглотаюсь ветра, надышусь всего — и к ночи аппетит страшный. Но зато потом страдаю. Съеденное давит на диафрагму, и я задыхаюсь... Сижу, и потихоньку светает. Тогда я снова ложусь.

За дверью шелестит мама. Вообще, у меня под боком кухня, совсем под ухом. Все шорохи и бульканье сливаемой воды (и мочи) я слышу. И как бумажкой шелестят. И мало ли что... Все слышу. Туалета-то у нас нет. Разве что между дверьми присесть. Или вниз, в дворик спуститься. Но уж бегом. А бегом не всегда можно. Порой и стремглав полетишь, а не успеешь. У знакомого моего одного тоже туалета нет. Он мне так и говорит: «Ты, говорит, стучи, когда входишь. А то вдруг войдешь, а мама на ведре. Неудобно». Действительно, неудобно. И я стучу. Всегда. И хорошо делаю.

Так вот, все шорохи и бульканье, и звуки жизни — все в ушко ко мне натекает, все в раковину ушка моего стекается, так на службу и иду, расплескать боюсь.

Глава 34

Потом еще один мой знакомый явился. Из тех изменившихся (из изменивших) — из обращенных, я бы сказал. Руки у него как-то очень изменились. Совсем другие стали. Большие, что ли, тяжелые. Сырые. Мясные очень. И не то чтобы влажные, но мокрые по структуре. Ну... просто как куски сырого мяса. Омерзительным стало его пожатие. Огромные руки врача-массажиста, с какой-то женолюбивой кожей.

И всегда, начиная разговор о литературе, непременно кончаем о бабах. Обязательно скатываемся. То есть, поначалу всегда о любви. Чуть ли не в смысле полета. А потом непременно на половой акт сползаем. Сама по себе тема, слов нет, замечательная. Но при чем тут литература? При том. Вдумайся...

— Тут фокус, загадка, необъяснимый ход, правда? — говорит он и коварно улыбается. — Как видно, тут связь, — говорит он в другой раз. — Тут все тесно и взаимно входит одно в другое. Здесь взаимозамена, и мы не всегда видим, когда она возникает. Как в жизни, по принципу вдоха и выдоха, путем спуска и нажатия. Нет?

В таких случаях я теряюсь. Я сам не могу понять, как это происходит. Но в этой теме мы увязаем прочно. И, измазавшись, уже не можем выбраться. Стоя на ветру, с погашенными сигаретками, говорим о половых извращениях, о влагалищных немощах его знакомой, о запрещенных диагональных приемах, мутных брызгах любви.

— Главное, вовремя сменить тональность и дыхание. А степень риска свести до максимума. Иначе одна печаль.

Тут мы уже забылись, какую-то грань проскочили. Плохо. Назад возвращаться поздно. А он уже не может остановиться. Хотя хочет. Но виноват я. Я ведь слушаю, изредка в азарте что-то вставляю, поощряю его. Вот в чем дело. И противно мне, и меня уже воротит, и вообще — домой хочется. А он говорит и на меня наступает. Я уже и так мордой верчу, уже отворачиваюсь, жадно глотаю ветер, сырость, звездный дух. Уже мы на мостовой (я, вернее), уже совсем сдвигаюсь в сторону, а он говорит, говорит...

— Да-да, ты прав... Но в искусстве все иначе. Там совсем другое. Пойми.

— Нет, и в искусстве то же самое. Мы с тобой заблуждаемся. Разница только в приемах и в подходе. А срез — тот же. Хотя плоскости не сходятся. И это даже хорошо.

Ну все. Мы перешагнули самих себя. Мы уже блюем. Надо уходить. И поскорее!

— Ну все, я пошел.

— Да, надо спать. Но как строить сюжет, это для меня загадка... Я провожу тебя до того фонаря. — И на прощанье дает сочную, мясную ладонь.

Глава 35

Какие мы все бедняги! Убитые горем, без денег и женщин... Куда нам пойти? Вокруг нас осень и дождь. Осень и шелест. Кругом такая желтая погода!

Сколько лет идет дождь и моет нашу мостовую, а в подъездах стоят и безотрадно мочатся в сумерки белые кони, пока балагулы не сгрузят уголь. Почему-то всегда уголь сгружают в дождь и в сумерки. Лошади заходят во двор сами — они уже знают дорогу. И молча сгружаются.

В такой дождь спят все площадочники города. Им недолго еще осталось. Скоро их совсем не станет. Вот уже последний — Мендель — сгорел от водки.

Привоз пустеет. Ветер работает подметальщиком. Он из богатых нищих. Он тот, кто собирает в свою торбу остатки фруктовых обедов. Ночью ветер пирует. Запах этого пира дает нам счастье.

Но пока — дождь загоняет последнего прохожего под навес. Крупные слезы роняет мясной корпус в пустое поле Привоза. В корпусе пусто, как в церкви. Дождь тихо стучит в высокие окна. В углу над кучей городского говна летают и воют волосатые сумасшедшие мухи.

Ветер и дождь относят в Александровский сквер старые газеты, клеит их на пустые скамейки... Вздуваются от ливня события в Югославии, военный переворот в Дамаске, падение правительств, маневры НАТО, выборы президента, на полях республики... На полях республики гуляет дождь. Дождь безнаказанно владеет переулками. Врывается на броню мостовых. Вталкивает в подъезды одиноких старух.

Хорошо сидеть в такую погоду где-нибудь в уборной на пятом этаже и смотреть на крыши: там гуляет парижский дождь, и опускаются знаменитые одесские сумерки... В канализационные трубы прибывает вода. Из средневекового окошка совиной уборной виден кусок здания в мавританском стиле. Там дождь неприступен. Гуляет вовсю, моет старые камни. Так начинается осень.

Октябрь. Пора натягивать брюки. Пора искать работу... Осень — это нехорошо. Это когда мокрые дороги и чавкающие в грязи туфли. Пора поисков еды. Пора поисков... Пора поисков...

Сумасшедший Шая с грязными тесемками и разбитым ртом просит у меня прикурить. У него нет спичек. А папироску ему подарили... У него был старый восьмидесятилетний папа. Папа часто ругал Шаю. Шая

не любил папу. А привозная шпана, налитая пивом, мелкая и слюнявая, дразнила благородного Шаю:

— Папа по-оц?..

Шая ненавидел шпану, но соглашался. Тогда ему полагалась папироска. Он ее честно заработал... Голыми ногами входил попрошайка в дождевую лужу у парка.

...Дождь поливает соборы Привоза. Громадный грузовик под проливным дождиком сгружает баклажаны. Шуревич и Рихтер расписывают зал «Мясо и Птица». Как сыро сегодня на свете...

Хорошо бы собраться нам всем, любителям собраться, и под горячий стакан чая с хлебом (с маслом) читать стихи о дождливом городе... Мы — урбанисты. А вы кто? Нас семь или восемь — любителей стихов и попарта, Достоевского и Шарля Бодлера, Брейгеля и Фужерона, почитателей Ибсена и Сковороды.

Ах какой порочный мачьчик!
Измазал морду и глаза...

Кто это? Ну, конечно, Юра. Юрочка. Но

«Тик-так», — говорят часики,
столетий упрямые ходики...
«Тик-так», — отправилось судно
в бурю, в метель, в походики.

Это тоже он:

Вам будет памятник, а мне
простая надпись на стене.

Каково? Я спрашиваю его:

— Но почему, Юрочка, почему??

А он:

— Это все чепуха, наклёп, случайность. Все не так... А так. Незаметность. Случайность, случайность! Господствует в мире случай...

Что он говорит? Зачем он так говорит? Мы не знаем. Лучше бы он вырвал у меня изо рта кусок сыра. Лучше бы он вырвал у меня изо рта кусок. Чем так говорил.

Когда над городом спускается туман,
во мне растет тоска по сумасшедшим...

Это уже я. Но мою тоску утолить легко... Они все вокруг. Они рядом. Мне же нужно, чтобы они были еще и под рукой... А ведь они — вот они!

Ее заболели руки, ее отказали ноги.
Кого отвезли в больницу?
Наташу, Наташу. Наташу...

Ах, да: это же Анатолик, известный симулянт сумасшествия. Он нам необходим. Кроме него, никто уже больше не скажет:

Возле старой Готовальни
зеленеет Вечный Жид,
Черный конь подковой чертит
заколдованный квадрат...

А Петя со своим «Апоплексисом»? Тоже себе прикинулся? Ой ли?

Автомобиль стекла слепого чертит угол
настольной лампы угол ствол ствола не ищет
он мебели пустой не скажет: Бог был...

Этого тоже больше никто не сочинит. Я оглядываюсь и вижу Диаблова: у него перевязаны зубы крестнакрест дочерней косынкой. С видом заговорщика зубов он таинственно шепчет:

Коты боятся щекота,
Щекочет кот еще кота...

И хохочет.

Он, конечно, шутит. Но кто мне это докажет?

Пятый месяц у меня болит сердце. Третий год длится эта страшная зима. Большая Простуда гуляет по городу... Под сереньким небом зябнет красивая архитектура. Там, за проводами, за молом — забытое Богом и людьми холодное море оставляет рвотную пену у скал. И мочится в огромное пустое море одинокий прохожий. И такая холодина на Пролетарском бульваре!.. И бежит Викуша зазябшая на службу, в интернатик.

По ночам я просыпаюсь. Меня будит Олежек в своей квартире. Он оглушительно кашляет, и я просыпаюсь. Кашель душит его всю ночь... Он просыпается, садится в белой рубахе на постели, ошалело смотрит в окно. Там ночь и туман. Я вижу, как туман бродит в его сырой церковной квартире (со сводами), как жадно ловит он ртом пустоту. И пишет скрюченной ревматизмом кистью «Рассказ немолодого мужчины». Я не могу ему помочь, но я с ним в эту ночь.

Боже, когда закончится эта зима?

Ночью в нашем доме часто разбиваются стекла. И кто-то долго кричит. Я слышу голоса соседей... В тяжелых кирзовых сапогах убегает подъездом ворюга, и знакомые крики:

— ...Эта безносая падла будет меня публично дразнить! Сознайся, сука, что ты в такие тяжелые годы с немцами сто раз спала!! Потаскуха!

— Держите меня, или будет убийство!..

Никто, конечно, соседку не держит — убийства не будет. Потом все затихает.

Утром приходит Толик, и мы пишем с ним сообща — поэму под названием «Меридиан косых планет», и это на некоторое время нас радует... Ничего, ничего — придет весна, и все обойдется. Правда? Заколосится нежный луг и побегут стада овец... Придет Гирш. Все будет хорошо. Мы встрепенемся. Толик говорит мне:

— Служба дает нам горячую пищу. Так не теряйте ее изо рта, ребята. Рот — не роскошь, а суровая необходимость... Ты понял?

Я понял. Мы продолжаем наш рассказ «Записочки графомана»:

«Брат и сестра — это не ваши дети. Сестра вашего брата — это не ваш брат. Брак вашего друга — это уже не ваш брак...» и так далее. Нет, положительно: пока у нас перо в руках, можно жить.

Ночью на Костецкой лают собаки. В тумане мерещится им Бог знает что. Бог знает кто мерещится им.

...Весь месяц дождь не отпускает город. В три часа начинаются сумерки. В семь город пустеет. Все смотрят Штирлица (который уже давно под колпаком у Мюллера).

На Молдаванке просыпаются фонари. Будем сумерничать, сумерничать. Будем собираться. Вытрем ноги о половички с водой, войдем в укутанную вещами комнату. Утонем в диванчике. Зажжем газовые печки.

Будем читать стихи. Смотреть на дождь. Греть над чаем наши отсыревшие лица. Слушать, как сладко к нам подбирается грипп... Будем смотреть на огонь. Будем ждать.

1972–1976 гг.

ЛЕТО И ЛИВНИ

Главы
из ненаписанной книги

Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы.

Н.Гоголь «Нос»

Меня томит густая печаль воспоминаний...

И.Бабель «Конармия»

Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочется, наконец, пищи для души. Вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться... Прощайте, ангел души моей, Марья Антоновна!.. Прощайте, маменька!..

Н.Гоголь «Ревизор»

В ПАРАДНОЙ НА УЛИЦЕ ПАСТЕРА

В парадной на улице Пастера во втором пролете тихо, тепло. Уютно сопит электрическая лампочка под цветным куполом, затканным бессмертной паутиной. Изящный витражик узкого средневекового окна. Терпеливый мрамор, густо исписанный за последние полтора века. Последние чистые уголки, не загаженные еще прыщавой шпаной и пэтэушниками, не заплеванные кровавыми окурками из нечистых ртов. Не подпорченные ядовитой кошачьей мочой и человечьей блевотинкой.

Тут можно отдохнуть, переждать дождь, непогоду, выкурить заветную сигаретку, почитать книжку, поцеловаться... (Я открыл этот уголок лет семнадцать назад. Давненько же тут не был...)

На табличках — старые благородные фамилии: Михельсон, Дворецкий, Канцлер, Кутузов, Рубинштейн. Был даже Хаим Смоленский, адвокат. Старые русские интеллигенты (из евреев) обитали тут...

Где-то здесь жил известный доктор Левинзон. Исключительный педиатр и диагност. Зубной врач Марменштейн (мосты, коронки, протезы). Д-р Зоя Альфонсовна Шейн (морфинизм, заикание, пьянство, половые расстройства, ишиас).

Но это было давно. Теперь тут тихо, паутина и не то. Жильцы жэка № 617/14, а не гинекологи, ювелиры и протезисты с частной зубной практикой (на дому).

Зато тут можно высунуться из разбитого слухового окошка, уронить на голову дворника старое ведро, плюнуть в сырую одесскую ночь...

Я ПОКАЗЫВАЮ

Пришел как-то к Мишелю.

— Н-ну что? Как говорят венерологи, показывайте?..

Я безвольно отдал ему свою маленькую тетрадочку, где косым неверным почерком видна сосредоточенная погоня за поступками (и запахом) одного моего знакомого. Потом буковки выравниваются, виден чистый почерк голодной гончей, влажным носом напавшей на след...

Несколько судорожных метаний, заминочек, клякс, сомнений... Какой-то дефективный рисуночек, неуверенная вязь, зачеркивания, чернильный разврат...

Несколько пробных (и ложных) бросков в сторону, маленькая паника в уголочке листа — и след взят! Идет железная диагональная клинопись, аккуратно огибающая шизофренические видения, рожицы, женские ягодицы, чертиков, томные профили незнакомцев из девятнадцатого века, идет текст, которого не может разобрать никто (и не надо). Там какой-то экспресьон, абракадабра, изощренный мат даровитого художника, жалобы, любовный бред, пейзажи... Какая-то смесь — догадки, фразы, прозрения... Идет то, чему хорошо бы стать чистым золотом прелестной прозы (без ложной скромности говоря).

— Пренебрежем текстиком, посмотрим рисунки. Л-любопытно... — сказал Мишель. — Ну-ка, ну-ка... Забавно. Сознательное подсознание, продуманный бред, да? Рисовальная неврастения. Мазохизм. Нет? Судорожная разрядка психастеника. Небрежная точность. Проницательность сумасшедшего. Что-то в этом роде. Я прав?

Впрочем, я сам такой. Но это любопытно... На удивление. Я не ожидал. После этого мне уже не стыдно показывать свои. А? Нет? Ну ладно. Посмотрим дальше. Ты смотри, здесь что-то сексуальное... Несомненно. Что-то фаллическое.

Я даю ему высказаться, потом мы молча смотрим. Мишель исступленно курит, сопит, нижняя губка его влажнеет. Он толкает меня коленкой, изучает этот рисовальный мазохизм, что-то находит там. Наконец я тоже начинаю видеть... Мы смотрим.

...Задумчивая Лорелея, освежеванная туша женской плоти, скорбное лицо Бонапарта (император почему-то в очках). Хрущик в Пикушах, пьющий чай на скамеечке. Недорисованная лошадь. Безрукий младенец, дурачок, глядящий в поле, снова заштрихованный Хрущик под женским бедром, заплаканный Пушкин, Викуша с цыганской серьгой в ушке, чей-то изуродованный профиль, надменный офицерик в эполетах и при шпаге. Якобы гипсовый якобы слепок якобы старичка... Дальше безумная страница с ихтиозавром, несущим в детских ручках цветок, раскоряченная задница, спряжение английских глаголов «to be» и «to have», Дионисий с крестом, горшочек дымящегося дерьма, девочка на качелях, Шурик, ждущий первой звезды...

...А там уже идет Гирш под зонтиком, в слепых очках, в пиджачке джерси и стоптанных туфлях на босу ногу. Дождик в косую линейку из облачка, Мишель с эль-грековским ликом, мой однозубый друг Павел с истерзанным взглядом, диковатый автопортрет (старик Кюхельбекер?). Потом снова женская плоть с могучим животом и дремучим пахом, Токман, висящий над пропастью, чуть ли не во ржи, пухлый младенец с безбровыми глазками Матусевича, Юрочка Новиков задумчиво мочится на цветок... Затем идет пантагрюэлевская задница Гуревича, неизвестный, дефективно ковыряющий в носу (наверно, это я), знакомый профилек лицеиста, неразборчивая скоропись, домик в поле, свеча на столе, завитки бакенбард... И дуэльный пистолетик со слабым дымком из дула. *«А в пистолете опустелом остался дым его забав...»*

— Занятно. Правда?

— Чесотка века. И в этом все дело. Ты расчесал мои эрогенные зоны. Теперь, как честный человек, ты просто обязан показать остальное.

— Неинтересно...

— Ну не мучай меня, покажи дальше...

И я показываю.

НА ПУШКИНСКОЙ ДОЖДЬ

А на Пушкинской дождь. Дождь. После концерта Юрского. Уже в фойе слышно, как он шумит. Ощущение свежего, почти летнего ливня, которого заждались.

Шорох, шум, плеск воды, сбегающей с гранитных цоколей, запах морской пыли, одуревшей от ливня листвы был уже тут, в театре.

И как все торопливо одевались, чтоб увидеть, чтоб уже поскорее... Туда, в грозовой запах озона, на улицу! В молнию, которая криво пролетала над Пушкинской, зажигала мокрые крыши, к бульвару, где уже горела от ливня листва и пучилось сизое море...

Дождь, смывающий золотую темную пыль с деревьев и лиц прохожих. (Легкие трещинки пошли по балконам. Там жадно пьют воду вечерние фиолетовые цветы.)

Мы вышли. Дождь припустил сильнее. В сумерках вечерней воды зажглись фонари... Вода моет изгибающиеся уже полвека тела деревьев. Тела животных. Платаны на Пушкинской. Мокрые антилопы с доверчивыми шеями. Свист проносящегося троллейбуса, тлеющие под дождем провода. Падение грома, где-то там за углом, в ближайшем дворе. Блестит мостовая, реет, как нимб над городом, рекламная пыль, проносятся, как жуки, длинные черные автомобили, и снова дождь моет плиты на Пушкинской, а счастья нет...

Моет дождь улыбающиеся, почти безумные лица кариатид, блаженные рожи античных богинь, девственниц, дурочек... Счастья нет. Нет счастья... Где оно?

Я не знаю. Пустынный сквер великолепен, набух деревом скамеек, железом оград. Дождевым порохом, кисло-сладкой мочой несет из дворового туалета, ржавым металлом и погибшей краской пахнут ворота, в старых водопроводных трубах шумит вода

ЧИСТЫЕ ВОДЫ ЛЮСТДОРФА

Заливаемые ночной и вечерней водой древних одесских водопроводов, медленно погибают в переулке Вице-адмирала Жукова напрягшиеся из последних античных сил могучие старые атланты. «Вы чье, старичье?» — хочется спросить их. Но так спрашивать стыдно. Пока этот жилистый старик с измученным лицом микеланджеловского Моисея держит балкон и небо над нами, можно еще жить. (Так хочется думать.) Но атлант устал. И небо может повести себя странно...

И тогда я понял, что жить здесь больше нельзя. Хотя очень хочется.

Остов гнилой, разлагающейся рыбы — библейское чрево кита — огромный издыхающий город, изъеденный проказой, моллюсками и мелкой рыбешкой. Висящие на честном слове чердаки и гнилые балконы. Море несло на себе пустые останки — ореховую скорлупу разбитых планет... И в раковинах — эхо недавней катастрофы. Шум достиг моего внутреннего уха. Осень — и печаль в криках чаек, поворачивающих ось своего полета на юг... Плавают пустые черепа и пароходы, наполненные водой, — водоросли буйно цветут на палубах и крышах... Здесь был потоп. Звездный цирк дал свое прощальное ревю — роскошное осеннее представление. Кровавое око маяка уже не мигало. Застыло сигналом бедствия... Кто бродил пустыми берегами? Никого. Пусто... Все. Конец порто-франко. Красивый был город (говорят). *Кто?* Хотел бы я знать.

Сентябрьское солнце золотит покинутые дачи. Догорает виноград на мертвых ветках. Двери колотятся на ветру.

Лунный шар поднимался вверх, стремительно набирал высоту, синея и сжимаясь... Прощайте, улетающие к луне! Город вымер. Лежит пуст и прекрасен. Ты этого хотел?.. Чистые воды Люстдорфа с головой покрывали дачные домики — они захлебнулись горькой и теплой водой Эвксинского Понта... Под водой буйно росли огороды; опрокинутые в прошлом году, запутавшиеся в проводах трамваи лежали на боку...

Ветер нес афиши и мусор. Птицы изумленно ходили длинными ногами по огороду, не понимая, что же произошло. Могучие первичные воды девона сомкнулись над погибшим городом... А когда пригревало солнце, в отложенных в золотом известняке скал яйцах ихтиозавра зачиналась новая жизнь. О, горькое счастье свободы!

Люди ушли, исчезли, но они не умерли — они только уснули. Они решили переждать катастрофу и смутное время. Потом они проснутся, и веселыми толпами придут на чистую, промытую ливнями землю, и начнут жизнь, радостную и другую... Так хочу я думать.

СПЛОШНОЙ ТУМАН

Я вышел рано, до звезды...
А.С.Пушкин

Сегодня такой туман подполз к городу, сплошной, первобытный... Из тумана торчала ветка, угол дома, кусок отмороженного белья — гипс, камень — окаменевшая тряпка, листок... На балконе третьего этажа висел не шелохнувшись бледный месяц. Он почти умер. До весны ему не оттаять...

Туман рос, подымался, он наползал, обволакивал, лепился. Ночью он замерз и остановился. Скрепил пространство. Окаменел совершенно... Утром я не мог открыть форточку. Туман зеленой глыбой льда торчал в стеклах окна — в трещинах и кристаллах я видел замороженное, заколдованное холодом лицо утра. Снег, ворота, двор, хворост, куски улицы. Ни скрипа, ни ветра. Только ревун ревет... Наспех одеваюсь, выхожу. Тьма, в двух шагах — ничего...

На троллейбусной остановке пусто, как в Антарктиде... Как же люди пойдут на работу? Хотел бы я знать. Успокойся: они не пойдут. Как? Так. Не пойдут — и все. Двери не открываются. Следующей станции не будет. Какие-то блокадные трамваи, пустые, холодные. Их занесло снегопадом.

...Никто уже никуда не идет. В гигантском обморочном холоде медленно, как дирижабль, погибал город... Хотя все утренние кафе почему-то работали. Кофе был приготовлен. И это вселяло надежду...

ОСТАНКИ РЫБНОГО БАЗАРА

Кто, кроме меня, опишет и взрежет ножом пожухлую рыбу заката над пустым азиатским базаром, где золотой мусор, дыни, хурма, и ветер-подметальщик сносит последних одиноких продавцов — одноглазого седобородого мусульманина, творящего намаз над вечерним товаром под первой звездой, и девочку с двумя кучками инжира на земле? Краски над площадью легчайшие, акварельные, и лиловый рисунок рериховских гор (под Самаркандом?) — гортанный рев трубы или осла... Тоскливый, пыльный вечер в Намангане — под пение джурбаев и клекот арыков, холодных, мутных, ледяных, освежающих сомлевший от жары город, где кружится голова в переулках от запаха роз...

О, останки рыбного базара!.. Девчушка-узбечка, улетающая косичками в горы, и смуглые коленки бьются в беге, налитые воздухом густым, вечерним... О, быстрая азиатская кровь, ударяющая в щеки девушкам Узбекистана!

Узловатые старики-узбеки, в кривых ичигах и темных халатах восседающие за чаем в чайхане, смотрят на меня древним восточным взглядом: я для них случайная косточка России, росточек, который сюда закинула эвакуация и война, — маленький, испуганный беженец-иудей, а кругом Восток... Но другой. Не Средний, не Ближний, не Дальний...

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

...Идет дождь. Поэтому блестят крыши.

Уже октябрь. Поэтому идет дождь...

Я выхожу на улицу, отбросив все мысли, кроме одной — я ищу работу...

Это — когда мокрые дороги, чавкающие в грязи туфли.

Лучшая пора вдохновения. Пора поисков еды...

Пора поисков... Пора поисков...

Это — напоминание о том, что впереди зима, жадно требующая дров и горячей пищи.

...Кровь осторожно вливается в сердце и медленно засыпает. Крови снится снег...

...Листва полна предсмертного величия: Она горит и скоро рухнет...

Я ушел из дома. Никто меня уже не оскорбит.

Я потерял надежду...

На улице, в дождь, я встречаю поэта. Мы обмениваемся с ним только что найденными образами. Больше с поэтами говорить не о чем...

Когда же я говорю ему о работе, о том, как это трудно — найти ее, — он произносит только одно слово: дерьмо...

Я и сам понимаю, что дерьмо, но все же ищу...

...По оконному стеклу катятся капли, как головастики, оставляя за собой торопливый и причудливый след...

Мы молчим... Мысли заполняют нас целиком. Это — лучшие часы... Сложный запах облагороженного ливнем дерьма настигает нас. Ты говоришь: «Весь город залит им. Что будет, если оно двинется?» Мы развиваем эту тему, увязаем в ней прочно, потом расходимся...

Я остаюсь один. Вода заносит меня, как корабль.

Я возвращаюсь (ты возвращаешься, мы возвращаемся) в свое сырое жилище, медленно опускаемся. На дно. Запевает чайник. Время здесь не властно. Мы одни. Нам хорошо...

Завтра я не пойду никуда. Зачем? Если на улице блестят крыши... Если на улице октябрь и идет дождь... Идет не переставая.

Идет, сам не зная куда... Если бы он знал... Если бы мы знали.

ВИЗИТ

...Сыростью от него несет. Уже с год как. Раньше не было этого. В костях его сырость засела. Ледяные пальчики дает он, здороваясь. Крепенько снимает ими мою ладонь — и отпускает. Но рука моя уже заражена нездешним хладом...

Вот он опять идет ко мне. Третий раз сегодня приходит. Что-то ему от меня нужно... Идет... Узкой мокрой спиной пересекает двор. Идет... Один. Несет на спине дождик. Наверное, скажет: «Спички забыл». Стучится. «Кто там?» — хочу спросить я. «Могильщик идет», — глухо отвечает не он, а так, кто-то. За него. «Могильщик идет». Иду открывать. Могильщик пришел. Это серьезно. От этого не отплюнуться. Тут юлить смешно. За мной пришел? Нет, еще не за мной. Но *ко мне*.

Покалякать. Разузнать, разнюхать — не готов ли еще? Не отсырел ли для могилки?.. То-то стучится ко мне ледяным пальчиком, зазябшим. А шейку куриную в шарф прячет, воротничок поднял, от дождика. А лопатку спрятал? Или вилку. (Знаю, знаю... Предвижу и это.)

Стучится. Пойду, однако, открою. Веселье изображу — вроде бы не узнал. Приятное удивление покажу...

— А это ты? Ну, входи.

И — впускаю. А он меня уже оком своим, синим взглядом сквозным окатил с головы до ног — и тута.

— Я, собственно, за спичкой пришел...

Ну я же знал!

— За одной? — шучу я.

— Разумеется, — смеется он, обезоруживая меня (и, кажется, даже себя).

Зажигаю.

— Прошу!

Он якобы шутливо, якобы благодарно изогнулся — якобы угодливо — и прикурил от спички моей мокрую от дождя сигарету.

— Еле донес, — сознался он — и закашлялся...

У меня хоть и зуб на зуб... — но держусь. Не обнаруживаю. «Эге, — думаю, — а сам-то отсырел дико... А? Но ведь он... оттуда. Разве не видно? Так зачем же тогда?.. Не понимаю». И я решаюсь.

— Ты... — начал я.

— Да, — говорит он. — Я оттуда.

Так просто сказал. Тут меня ледяной дрожью и страхом и проняло. Догадался, с ужасом подумал я. Понял, что я понял.

— Ты как, совсем?.. Или... Откуда ты узнал? — спрашиваю я ошалело.

Он ничего не понял (наверняка), уговариваю себя я, но мне подыграл. Творит легенду на ходу. Очень, впрочем, умело... Если б не нитки... Нитку как-то заметно. Шьет очень размашисто. И стежки оставляет...

— Откуда ты узнал? — удивляюсь я льстиво. (С теми, кто оттуда, так и надо.)

Затянулся, едко прищурился:

— *А мне донесли*. Свои люди, — опасно сказал он.

«Вот оно что, — вяло подумал я, уже совсем холодея. — Все знает, все донесли, и нет исхода...»

А он уже властью своей наслаждался, испытывал:

— Можно? — интимно спросил он, сняв видавшую виды шляпу и показав огромный лоб на большой голове, с седью и красной чертой от шляпы и дождя. — Можно я у тебя, — приблизил нос свой к ушку моему, едва не касаясь, — *посижу*? — закончил.

«Н-ну, — думаю, — так и убить можно. Как подходит, как подъезжает, а? Я думал... ну совершенно, ей-богу, почти — думал, что скажет: можно я у тебя (опять же интимно) покакаю? Такая пауза!.. Так нет же — «посижу»!..»

— Ну конечно, — торопливо говорю, — только пальтишко сыми?

— Благодарствую, — сказал он и ловко снял с себя пальтецо. Подержал на весу в двух пальцах. — Куда? — И держит.

А я его боюсь. И вот почему: вдруг врать начнет, что тогда? А ведь начнет, я знаю... Он не может иначе. Странен он сегодня. Вдруг начнет, что тогда? Не знаю, как вести себя, когда человек врет. Просто пошевелиться боюсь, оком моргнуть — вдруг догадается, что я... того... догадался. А? Ведь рассердится. Это-то я и скрываю от него, и подмахиваю... До поры. До времени... Но до этой поры далеко.

— Так куда? — Пальтецо все висит на пальце.

— А вот, вот сюда, — засуетился я.

— Повесить?

— Ага.

Р-раз — и готово. Повесил, спинкой передернул, сказал: «Тепло у вас», и нырнул в комнату. (Ну и нырок у него...)

— Ты садись, — говорю как можно более непринужденно. (Ибо кем, *кем*, хотел бы я знать, я принуждаем? Никем. Одним, можно сказать, собой.)

— Мерси, — галантно сказал гость и присел худой попой на краешек. Ножку в ножку вложил, башмачки, несколько подтекшие, спрятал — вгляделся.

«Тут я и попался», — подумал я с тоской, а сам этак непринужденно на диванчик откинулся.

— Ну-с, как дела? — спрашиваю. (Вроде бы ничего не подозревая.)

А он внезапно мрачнеет и говорит:

— Какие там дела? Плохи, конечно. Плохи, старик.

Чем приятно меня, не скрою (правду сказал!), удивил. Но виду не подал — ведь глупо же удивляться (в любом случае). Глупо подавать вид. И говорю:

— Да... действительно. Вообще, знаешь... Черт знает что такое... Правда?

А он как вглядится в меня и как расхохочется!

— Ну, знаешь! Нет, в самом деле, — что бы я без тебя делал? Ей-богу, не знаю. Умер бы от скуки...

А я замечаю: подобрел, смеется. Это странно. Хотя... Все, все может быть... Уж это я знаю.

Но рано я радоваться начал. Он отсмеялся, вытер неясного цвета платком слезы, поймал на лету выпавшую изо рта слюну, отер рот и помрачнел.

— А ведь жаль.

— Чего жаль? — говорю.

— Жаль, что все так получается.

— Как, как получается? — спрашиваю я, а сам безумно уже беспокоюсь. Чую, чую что-то, непонятность какую-то, неясность.

— А так. Вот беседуем. Как люди. Рассмешил меня даже. А ведь я тебя... убить пришел.

Вот оно. Так я и знал. И сразу поверил. Ибо к этому все и шло... Уже который год шло. Да. Вот оно. Нелепо все как-то. Черт знает как... Не так. *Или так?* (Убить меня давно надобно. Как и его. Радикально все решить...) Но так думать нельзя. И я говорю:

— В самом деле? А за что? — так, вроде бы о постороннем предмете спрашиваю. — Зачем тебе это? Какой смысл? — А сам отшатнулся и жду.

— Вот потому-то мне и трудно это сделать, что ты не знаешь, за что. А когда человек не знает, это неинтересно. Надо знать. Потому мне и трудно. Но *не невозможно,* — добавил он со значением.

Ну, раз говорит — не сделает. Так всегда бывает: когда говорят — не делают. Нет, не сделает. И все же...

И я говорю:

— Нельзя же так, вдруг... Надо хорошо подумать. Ты согласен? Надо подумать, выяснить, взвесить, наконец. Правда?

— Ну как можно убивать такую прелесть? Как можно убивать такого замечательного поца? Нет, ты подумай — он не знает, за что... Боже! Подари мне такое незнание — и я прощу Тебе все! Ты прав. Это невыполнимо. Это черт знает... Извини. Извини, я болтнул лишнее. Ты этого не слышал. Все. Дай закурить.

Я поспешно дал. Он, конечно, актер, что и говорить. Но ведь и вещий человек тоже. Конечно, играет... (А вдруг нет?) Но ведь и мученик... А? Нет, нельзя этот разговор похерить. Нельзя.

И я опечалился. И подумал, что, может, прав он. И убить меня надобно. Как и его. (Нет, чепуха. Это не решение. Это истерика. Это не умно-с. Не нужно никого убивать. Надо лечить друг друга. Как лечат гланды. Морской водой... Звездами... Беседой...)

Так я себе мыслю, прикидываю, а сам его уже люблю. Потому что смотрю: родственные души. В некотором роде и смысле. Где-то. (А где?..)

Нет, в самом деле. Гоню от себя подозрения. Гоню их прочь. И готов броситься себе и ему на шею и пожа-

леть всех. Всех. Мы все больны (вспомнил я его заветы). Все нездоровы. Все нелепы. Все трагические. Всем плохо.Всех нужно пожалеть...

В воздухе летает все — микробы страха, флюиды неволи, миазмы распада, бактерии некоммуникабельности, одичания, безумия, смерти... (Ты не заметил?) В воздухе, которого уже почти нет, реют болезни и хвори: повсюду зараженные ужасом лица, везде хироманты, дизентерия, грипп, коклюш, чума... И нет спасения. (Все это у меня так, между прочим, пронеслось — и пропало. Я *понимал*. Но мне не верилось. В этом все дело.)

Но побоку это, побоку. Все беллетристика. На улице-то дождик. А он у меня сидит. И нечто (предметик некий) в кармане держит. И как распорядится им, еще неизвестно. Неведомо. Это обстоятельство делает нашу беседу куда серьезней, чем в другие дни.

— Чайку́? — спрашиваю.

— Нет, — твердо говорит он. — Стакан воды. Холодной. Из-под крана.

Даю. Пьет, а глаз (один) от меня не отрывает. И зреет в этом глазу мысль. И чем далее он пьет, тем более мысль созревает, пухнет, набирает скорость, обретает какую-то непонятную мне плоть. Глаз наливается влагой, влажнеет, проясняется от наслаждения водой и бурно синеет... Последний глоток... Содрогание шеи... Крупно шагнул кадык... Все. Стакан выпит. Мысль созрела. Я предчувствую бездны... Откровения. Озарение. Всепонимание. Жизнь. И неотлучно следующую за ней смерть... Открытие, одним словом. Я напрягаюсь... Достоевский и Христос кажутся детьми. Космос. *Судьба!* Ну... Ну же!

И тут он спокойненько говорит:

— А знаешь, я только что понял, какой Хаим... идьот. Абсолютный. Представляешь?

— Это все?

— *Все*. И ты тоже. И я, естественно, тоже.

— Ты пошел?

— Я пошел.

И он уходит, не прощаясь.

...На балконе шумит дождь. Там ночь. Древняя ночь, похеренная культурой. В тропических ливнях зреют папоротники. И под этот первобытный шум двор спит, двор спит, двор спит...

СОН В ШКАТУЛКЕ

Днем в туман хорошо спится. Появляются странные сны, в которых уютно. Хотя бывает и тревожно.

Много лет назад я начал стихотворение, которое невозможно продолжить. А главное, не нужно.

> И снится мне: во сне я снова засыпаю.
> Усыновленный сном, сплю, снящийся себе...

Дальше писать уже не стоит.

Потом — сон... Цветной, лаковый, зимний сон в шкатулке... Мы идем с Мишелем по зимней улице, это улица Гоголя, мы идем босиком по снегу и не можем отвернуть головы от зимнего горизонта, от небывалого света за облаками. Белые, сизые, тусклые белила небес, со свинцом, подсиненные... И маленькие домики, как конверты, как письма. Белые, запечатанные, как письма, дома. И голос мамы... Нас зовут. У Мишеля зимняя шапочка на голове с поднятым ухом... Мы входим в домик, раскрывшийся, как конверт. И так грустно, грустно в этом сне... Потом в комнате пошел снег. Это квартира на Дерибасовской. Снег заносит картины в дорогих рамах... Они уже полузасыпаны снегом, он лежит на них, пышный, дорогой... Жаль тронуть. Я задеваю случайно одну, снег осыпается, и я вижу, что холст пуст. И ветер оттуда, как из прорехи... Хрущик, горячий и смуглый, в заячьем тулупчике, мимо пробежал... И снег задымился под его шажками... Потом появились стихи «Сны зимы». Но уже наяву...

> Облака стоят сплошной стеной.
> Небо тундры... Только где же чумы?
> Мы идем под северной луной.
> Сливочно застыли эскимосов думы...

Лишь перо одно летит
в черный лак шкатулочного неба.
Тихо в поле: ни пурги, ни хлеба.
Улетает в тундру запах книг.

...Тают зеркала в пустыне комнат.
Время движется к весне...
Кто нас помнит? Нас никто уже не помнит.
Дикий снег заносит нас во сне...

ИЗ ДНЕВНИКА

Юре Новикову

Осень была: встретил Юру. А он грустный-грустный. Очки снял. Нес молоко. «Грустно, Ефим, грустно...» (И кроткие глаза без стекол, печальные и красивые, глаза русского интеллигента, глаза оттуда, из девятнадцатого.) Ветер на Кузнечной. Несу молоко. Юра надел запотевшие очки. «Идем ко мне. Я покажу тебе рисунки». Рисунки странные. («Сыру не хочешь?») Я ем сыр. Потом — рисунки. Капельки крови краплаком разбрызганы. И линия — почти потусторонняя... «Останься, будем слушать музыку». Я остаюсь. Мы слушаем музыку. Юра подходит к окну, долго смотрит туда. Там ночь и туман. Потом говорит: «Нигде, *нигде* не продают оружия... Странная страна...»

В ДУРНУЮ ПОГОДУ

Мы собирались часто. Гасла осень...
Е.Я.

В дурную погоду мы собирались и играли в слова: глауберова соль, гауляйтер Прибалтики, глинобитные машины, глобус, гамма-глобулин, глициния, гланды, Галапагосские острова... И так далее, и так далее. Мы уже не могли из этого выбраться и уже не хотели. Нам было уютно, нам было хорошо. Как в добротной шахматной партии, где глупость неуместна. Куда посторонним вход запрещен...

Не мешайте нам жить! Там, где мы хотим. Социум за окном нам не указ... И не забудь сюда слова: глина, глупость, глисты... «И обязательно — кофе-гляссе! Я его обожаю». Гамма, гимн, гипноз, глинобитные машины, голуби, Ганнибал... И еще — застряли во мне из школьных лет гиксосы. Кто они такие? Хотел бы я знать. Их давно уже нет. Зачем же тогда они? И дивная фамилия — Гиммельфарб... Все. Мы впадаем в детство. Мы становимся немного дефективными, зато свободными. Мы пьем чай, играем в слова и наслаждаемся друг другом... Мы почти счастливы.

Представь себе: дождь, единство, разговор с Лерой, все однажды собираются — все, кто любит друг друга. Телефон... Какое счастье, что изобрели наконец телефон! Толик прав. Мы живем отдельно, каждый у себя, но родина (духовная) у нас одна. Когда осень, дождь и пустеют улицы, нас всех охватывает тоска по общности. И море, и снегопад... А в комнате тепло. И дух, который веет, где хочет. Это счастье... Ты меня понял? Мы были как дети. И мне не стыдно об этом говорить, не стыдно в этом признаться. Мы были невинны, чисты и прекрасны...

МЕЖДУ КОШКОЙ И СОБАКОЙ

— ...Между тем, когда наступает ночь, моя кошка оживает. Она — тайна ночи. Кошка таинственна. Страшно бессмысленны ее глаза. Но именно поэтому кажется, что она знает и понимает больше, чем моя собака. Ей внятно нечто непостижимое для меня... Она жмурится, раскрывает, распахивает глаза, вбирая в свою теплую пушистую плоть когти... Хрусталик глаза заполняет весь зрачок. Кошка не думает, — она вбирает, всасывает меня, мир — и тут же отпускает. Потому что я не нужен ей. Возможно, она ничего не знает ни про меня, ни про мир. Это через ее зрачки проливается ночь. Она — душа ночи. Темная, древняя душа вдруг появляется и пугливо прячется снова... Она боится меня. Это не кошка смотрит на меня, а древний Хаос, темное правремя, джунгли... Я тоже боюсь ее, я не могу на это долго смотреть и суеверно опускаю глаза...

Да, ночью кошка значительна, она почти пума, почти царица. Она не спит. Наоборот — она оживает...

А собака спит. Спит, дышит, стонет во сне, вздыхает... Ей снятся сны. Почти человеческие... Она почти человек, эта собака. Все знает, все понимает, все предчувствует, ко всему готова. И знает, что умрет. Вот что нас сближает. Но ведь и я сам знаю, что умру. То есть я подозреваю это. Но не знаю наверняка...

— Не знаешь наверняка?!

— Ну... все может случиться...

— Счастливчик!

...Однажды был Новый год. Мы встречали его у Леры. Там была Люда Кругликова. Я был безумно влюб-

лен в нее. Совершенно обессиленные от встречи, мы вышли на балкон. Было утро, был туман. «Туман, как у Коро... Да?» — сказала Люда, но в тумане я не видел ее. Дерево роняло крупные капли пота на гранитную мостовую. Мы считали эти капли. Досчитали до сорока. Потом вернулись в комнаты. Все спали вповалку. Чьи-то ступни оказались на моей голове. Острое ощущение блаженства охватило меня... Впрочем, ненадолго.

ПОТОМ ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

...На Староконном было людно и рыбно. В сверкающих аквариумах лениво плавали пожилые китайские вуалехвосты в густой кровавой чешуе, бегали в чистых, как слеза, водах юркие сперматозоиды мелких живородящих гупий. В цветных стекляшках и диковинных пуговицах, в переплетах бывших изданий «Анакреон» и «Нива» отражался веселый одесский мир. Старички в узких пасхальных брючках — старых, заглаженных до блеска штанах в полоску (а-ля Макс Линдер) продавали и никак не могли продать тесемки от цейссовских пенсне, авторучки без колпачков, открытки с видами Конотопа и Праги образца 1908 года, лакированные заготовки от бывших ботинок с красными пыльными стельками, где когда-то лежал забытый бабушкой бинокль из бархатной ложи одесского городского театра, с каплями свечного нагара на плечах... Приходил сюда знаменитый Гуревич, ведя за руку задумчивого сына. На полу и асфальте известный художник торговал картинами и багдадским сыром. Высокий, похожий на Вана Клиберна Володя Стрельников не очень успешно продавал старые книги, писал акварели. Приходил увенчанный командорскими усами, с тремя попугаями на плечах, неунывающий Люсьен Дульфан. Появлялся Валик Хрущ — энергичный, бодрый, в серой элегантной шляпке, интересовался стамесочками, замочками, птичками, рыбками, старыми фолиантами, ценами на нефть, старыми автопокрышками, каучуком, хорошей оптикой, освежителями краски. Сияло одесское солнце, жизнь была прекрасна и впереди...

...Потом все изменилось. Всюду была какая-то неясность. Денег не платили, аплодисментов не было слышно, лучшие книги исчезали с прилавков, зелень продавали по высокой цене, фильмы снимались по чужим сценариям, пахло нефтью...

Дул ровный, как веревка, ветер. Шел 1980 год. Дул, раздувая жабры, теплый ветер с окраин. Таяло в небе, на бульваре звенели в ведре дворничихи сосульки. За окном, освещенное жабрами рыб, мерцало большое тяжелое море. Над зданием оперетты — мокрый, кривой месяц.

Был март. Кричали вороны. Полной грудью дышал пустырь, шевелился ночной чернозем, стадион еще не был построен. Кругом были ночь и туман, заваленная сырыми досками пустошь, заколоченная на зиму луна. Начиналась какая-то дикая весна, с ранним цветением и морозами, по ночам снились кошмары...

Где-то далеко Хрущ задыхался от столичного смога, на магнитофонные ленты наматывалась жизнь, а счастья все не было... У Вики пили чай, с крепкой, но не той заваркой, читали стихи, смотрели на икебану за окном, вспоминали прошедшее лето, играли в слова и молились. Билли преданно смотрел в глаза, на морде у него моталась слюна. Порто-франко медленно опускался на древнее дно...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА. ДВОР

...Вечер стекает горячим сиропом в пыльный стакан Молдаванки... Бóбе зовет, надрываясь, домой вспотевшего внука: внук забивает в родные ворота решительный гол... (Внук — это я.) ...Детям давно пора ужинать, на небе уже зажигаются звезды... Пора покупать газированной свежей воды — киоск уже скоро закроют.

Думать, что к вечеру все затихает в нашем прекрасном дворе — большая ошибка. ...Идет игра в домино. Старики забивают с размаха в деревянный стол свои последние кости. Где-то идет разговор: «Вы знаете, Люся, я еще утром заметила снизу, что вы давно не стирали собственных ваших трусов...» Та отвечает, довольно спокойно: «Допустим. Вы мне лучше скажите, часто ли моете вы ваш вонючий отлив? По-моему, там завелись уже черви... *Черви,* по-моему, там уже завелись». Внезапно соседка взрывается: «Чтоб ты так *дыхать* могла, румынская блядь, если я позволяю себе какую-то нечисть в отливе!» Спор нарастает крещендо: «Ах ты, паскуда, ты будешь меня публично позорить? Последний ребенок знает, что ты в такие тяжелые годы с немцами *сто раз* спала!!» «Грязная тварь! Мандавошка! Последняя сука квартала!» «Ты посмотри на нее, худая зараза! Об тебя же порезаться можно!..» «Ах, ты опять за свое? Ну так запомни, халява: Я твоего слабосильного мужа больше к себе не приму». «*Потаскуха!* Держите меня — или будет убийство!..» ...Никто, конечно, соседку не держит — убийства не будет. Бóбе с трудом загоняет домой вспотевшего внука: он еще маленький слушать такие плохие слова.

Двор затихает... Слышно, как жарят бычки. Соня уже набирает из шланга прохладную воду на завтра... Красавица Фира моет под краном свои загорелые длинные ноги... Жадно следит за этим процессом с балкона старик Баренбойм. Сосед Веледницкий зажигает над Торой свой золотой семисвечник и молится жарко Субботе...

...Бессмертная пыль опускается тихо на крышу мансарды мадам Остапчук. Над Молдаванкой долго горит, не сгорая, серебряный месяц... Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи...

А гите нахт,
А гите нахт,
А гите нахт.

МАТРАС, ИЛИ ПРОЩАНИЕ С БАБЕЛЕМ

рассказик из 20-х годов

Смутное видение преследует меня...

Матрас!

Это была давняя мечта моего брата. И моя.

Полосатый и новый, матрас сладко звенел, как арфа, когда вы на него садились, и долго провожал вас гудением своих струн, когда вы поднимались с него. Это был настоящий орга́н!

Я не знаю почему, но я отказался от пуховых перин. Зачем мне перины? Мне казалось, что каждый матрас чем-то похож на матроса. Оба полосатые, оба пахнут далекими странами. Какой-то собачий вздор, составленный из юного воображения!

Я не удивился бы, если бы матрасы делали из тигров. Тигровый матрас, представляете? Роскошь на грани безумия.

Мой брат был беден. И была весна, и было лето. Когда наступало лето и мы задыхались по вечерам от сумасшедшего аромата цветов и акаций, нам было все равно. Кровь неслась по нашим наэлектризованным телам вверх и вниз, как будто ее кто-то подгонял. Ее подгоняло наше сердце, наши сердца — мое и брата Изи. Они колотились гулко и тревожно. Душа замирала. Соленая кровь совершала в тысячу первый раз свой кровавый и вековечный путь по нашим сосудам. В голове шумело... Падали звезды... Шарахаясь из стороны в сторону, из берега в берег, ходило под Одессой, как под сердцем, большое Черное море... Оно раскачивалось, налетало на берег и сразу уходило — как будто его ждали на другом берегу.

Море, море!.. Какая пошлость — думать за матрас!

И все-таки, как только подошло к концу лето и уже не было ни сладкого запаха дынь на базарах, ни теплых лунных ночей, ни собак у булочных, ни... мало ли чего еще... и уже начинался ветер, и шумел парк, и пахло осенью, и хотелось тепла, — Изя и я, мы оба начинали лихорадочно думать про матрас. Мы думали про него всю зиму.

Мы сочли бы иметь его один на двоих. Мы даже забыли о женах. Мы хотели матрас.

И несчастье произошло.

На нашей улице действительно купили его. Новый. Голубой.

Это сделал не я, не брат Изя. Это сделала тетя Песя, здесь сидящая. Она сделала это. Она сделала это публично.

По улице везли матрас. Была весна. И мы пошли за ним, как за гробом.

Не спрашивайте, что было потом! Конечно, весь квартал вылез из окон и смотрел на нас, провожая сочувственными взглядами. Все знали, как мы хотели матрас, и все видели, как мы не имеем его.

Мальчишки преследовали нас по пятам. Все сумасшедшие квартала шли за нами, кривляясь. Даже тихий помешанный Шая бросил ковырять в носу и плелся за нами в сандалиях на босу ногу, и глаза его осмысленно смотрели. Шмаркатые дети, золотушный приплод Привоза, не отставали от нас ни на шаг и дразнились.

Тогда мы не выдержали. Мы не выдержали унижения.

...Тень брата качнулась на стене. Она тронула тетю Песю за руку:

— Вы помните это, расскажите, как это было, в точности.

Тут вмешался я.

— Мосье Бабель, — сказал я, потому что передо мной сидел именно он. — Мосье Бабель, вы — как всякий, конечно, писатель — умный человек. Вы гораздо умнее, может быть, чем известная Хана Маневич с Малой Арнаутской (пусть будет ей земля пухом) и губернатор Новороссии, вместе взятые. Я бы даже сказал — чем сам царь. Но — не будем преувеличивать.

— Да-да, не будем преувеличивать, — мягко и с глубоким ехидством сказал Бабель.

— Так вот, я прошу у вас капли внимания к этой истории...

Мы не могли выдержать унижения и печали. Мы начали умолять тетю Песю, обладательницу сокровища, и обещали ей все. Мы на ходу отдали ей все наши деньги и говорили о счастье наших детей и внуков и о благодати Божьей, которая опустится на нее, о милости, в которой не отказывают, о том, какое благодеяние перед Богом и людьми она совершит, если продаст нам этот матрас — средоточие наших помыслов, нашу мечту...

И на глазах у всех случилось чудо. Великая доброта и жалость снизошли на тетю Песю, бедную мать единственного сына, убитого по ошибке в прошлом году налетчиками в мануфактурной лавке Арона Ципеса.

Короче говоря, мы перекупили его. Прямо на улице. Он был наш. Целиком. Со всеми своими звонкими потрохами. Тугой и воздушный. Мы готовы были голодать, чтобы купить его. И мы бы голодали, в этом нет сомнения! Но произошло несчастье...

Когда мы подходили целой процессией к дому брата, в конце улицы показались конники — это были петлюровцы.

Они неслись с шаблями наперевес, прямо наперерез нам по Малой Арнаутской, не доходя до Преображенской. Они неслись на своих мыльных конях, матерно ругаясь, задыхаясь от погони и от жажды, от запаха евреев и предвкушения погрома.

Это было как раз когда мы уже доходили до Изиного дома, и с балкона чуть не выпали его дети, кричащие нам вслух. Они неслись нам навстречу. Наш матрас несли два лепетутника с Привоза, два чужих человека. Увидев близко от себя конские морды петлюровцев, они испугались. Можно было испугаться, но нельзя было бросать дорогую вещь. Они бросили его прямо под копыта контрреволюции, и обезумевшие всадники пронеслись над ним, как судьба...

Они рас-топ-та-ли наше добро во мгновение ока. Каждая лошадь считала своим прямым долгом всадить копыто в голубой шелк и серебряную спираль пружины — вещи, которой мы не успели насладиться. Больно

было видеть это. И мы ослепли от горя. Но брат Изя, наверно, ослеп больше, чем я. Иначе он заметил бы, что стоит слишком близко от дороги — слишком близко от смертоносного пути разгоряченных коней.

Бедный Изя, он рванулся вперед. Он совсем забыл о страхе, он хотел спасти свою мечту, которую терзали кони неизвестно откуда взявшейся банды. И он попался.

С криком, который я не могу вам передать, его полоснули по лицу бандитской саблей. И брат упал...

...Я не буду долго размазывать по тарелке кровавую кашу из пыли и слез... Я скажу вам коротко: всадники, как ангелы смерти, пронеслись над нашими головами — над нашим горем — и исчезли в золотой молдаванской пыли...

Налетела на город *настоящая* буря, из тачанок и красных знамен, и никогда больше не возвращалась погромная банда в нашу жизнь. Революция пришла и больше не уходила с прекрасных улиц Одессы. Началась, как вы сами уже видите, наша с вами новая жизнь, вечная радость для наших внуков и, как знать, может быть, даже правнуков... Но брат Изя был убит навсегда.

Видите ли, что я вам еще скажу... Я скажу вам, что наша прихоть, наша мечта, наша смешная надежда на маленькое счастье, которое заключал в себе тогда этот несчастный и великолепный по тем временам (да и по нынешним тоже!) матрас, — стоили нам дорого... Так всегда бывает — за мечту надо платить. Как вы думаете, я не прав? Я прав.

Качая большой мудрой головой, вы улыбаетесь со слезами на глазах и считаете, конечно, что эта местечковая трагикомедия (назовем ее так) не очень достойна вашего пера. Но вы понимаете также и то, что эта маленькая история из жизни больше не повторится, — и от этого вам грустно, радостно и немножко больно...

Старая тетя Песя, у которой на лице уже не было места для морщин, гладила своими остывающими пергаментными пальцами теплую руку писателя и качала белой от воспоминаний головой...

ХУДОЖНИК И ПТИЦЫ

— Конечно, Фима, я бы мог и из рук католического ребе получить отпущение грехов. Но я пока подожду. Мне не к спеху.

В пыльном бархатном берете, широкополый и широколапый Дюльсэр щедро разбрасывает на холсты своих перистых ершистых пернатых — красноклювых, взъерошенных, ало-зеленых попугаев, — и они истерически кричат, и бьют кривыми клювами воздух, и кувыркаются на головах и шляпах друзей и прохожих, свивают там свои роскошные нечистые гнезда, причудливо галдят, гадят и сквернословят на иных языках, грассируя и картавя, поедают при этом все, что бросает им под ноги ветер и почтеннейшая публика... Часто в полете они разбиваются о стены, и на их разноцветных внутренностях гадают местные весталки...

НА КОСЕ

— Запомни: я принимаю не только людей с высшим образованием. А любого. Что ты знаешь? Я чувствую себя там очагом культуры. Я не просто сижу в халате, в фесочке и с кисточкой. Ловлю не просто кайф. Я созерцаю и медитирую на почве индийских мантр и восточной философии Тибета. Я далеко не брахман. Но обдумать, какую краску положить на холст, я еще могу... Я стал там крестьянином. На время.

Город меня не волнует. На косе меня просто обожали. Я судил и разводил, как местный цадик. Простая жизнь, открытый воздух, огороды, грубая хаванина! Рыбу я жрал там в сыром виде! Сохраняя витамины и вкус моря... Вечером я моюсь из шланга, потом поливаю огороды, свои и чужие. Выращиваю помидоры. Пью вино. И, по-моему, даже мочусь вином. Совершаю обряд Кукумбы. Танцую и зажигаю костры. Потом иду к Фолкнеру. Это наш начальник станции (он не писатель). Я тогда еще с ним не поссорился. Там тучи комаров, но я научился с ними ладить.

— С комарами??

— С кем угодно. Ты слушай меня!! И заметь: я не замыкаюсь. Я открыт: мне все должны, я всем должен. Идет натуральный обмен. Без навара. Но с пользой. И только к ночи, когда никого нет, я поднимаюсь на крышу и совершаю под звездами намаз. Как учил Муслим. Хотя, как ты понимаешь, я не мусульманин... Совсем наоборот.

ОТКРЫТИЕ?

— Представь себе: сновидческая цивилизация... Люди будущего. Или люди прошлого. Люди параллельной нам цивилизации (скажем так)... Они жили в своих сновидениях и были счастливы. Они стали запущенными. Ремесла у них угасли, они опустились промышленно, пали, так сказать, материально.

Зато дух их сиял высоко. Они во всем видели глубину жизни, красоту духа и не заботились о внешнем. Тут они сильно уступили грекам. Но... они были счастливы и грезили наяву. Они крепко спали и так растили силу своей жизни...

Что же приходило в упадок, чем они жертвовали? Очевидно, эстетикой. Хотя чувства их были изощрены. Им не нужна была пресловутая сила воли — они жили по законам своих сновидений и добирались таким образом до фантастических глубин. И все же... они что-то очень важное теряли. Они теряли дисциплину. А с ней и саму жизнь. Пробуждение было их смертью... Они, когда умирали, вдруг просыпались. И часто на самом интересном месте. Совсем как у Льва Николаевича, совсем как об этом писал Лев Николаевич Толстой. Следовательно, разницы между жизнью и смертью у них не было. И в этом вся штука.

Любопытно, правда? «Жизнь — вечность, смерть — лишь миг». Лермонтов, как ты сам понимаешь. Ну а если наоборот? Подумай. Страшное дело. А ты говоришь...

— Я пока еще ничего не говорю.

НА ОСТАНОВКЕ

Ранней весной озябшая до слез, до синевы, стояла на холоде девушка в ожидании трамвая, в одних трусиках. Мне чудилась ледяная купель и озябшее дитя. Я видел розовые пупырышки на ее икрах, где играла кровь, как на бойне... Она была готова окунуть трепещущие голубые соски грудей своих, набрякших от неопытности, в звездный раствор воздуха. Она была готова расплескаться на моей смуглой грудной клетке, где большими глотками жадно проглатывало кровь готовое к обмороку сердце...

Драматично было мое положение. Только уверенность в божественности моего прикосновения позволит мне прикоснуться к ней. Я прикоснулся. Эта секунда решила все.

— Вы ждете автобуса? — спросила она, и влажная розовая гортань показалась за ее словами внутри...

О, да, я жду автобуса!

.....

СКАЗАЛ РАБИ ШИМОН

«И сказал раби Шимон: „Если бы знали скудоумные вавилоняне тайные слова мудрости, то, на чем зиждется мир и из-за чего волнуются его опоры, когда он пребывает в стеснении!.. Мы учили: двенадцать месяцев Душа связана с телом в могиле, и они судимы одним судом, кроме душ Праведников, о чем уже говорилось. И она находится в могиле и знает о несчастье своем, и о бедах живущих знает, но не занимается их делами. А спустя двенадцать месяцев облачается в некую одежду, и идет, и плывет в мире, и знает от Духа то, что знает, и занимается бедами мира, и просит милости, и рассказывает о несчастьях живущих...”»

(«Раби Шимон в Вавилоне»)

ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК

(Москва, синагога, 1981 год)

Я в синагоге. Впервые в жизни. Сегодня йонтыф. И кантор с пейсами поет. Красный от натуги. Голос его звенит, как у итальянского певца. Но иначе. Он берет за душу и уносит высоко... Царь Давид, он в парче. Алхэд и Тора. И любимые бабушкины слова: *швуэс, талес, лехаим, Готыню, умейн...* — уносят меня, и я впадаю в древнее детство... И могендовиды горят из лампочек во тьме, и древние письмена... Лехаим, Готыню, умейн... И всё.

...Плачут свечи. Мы молимся. И потом — пляска вокруг свитка с Торой... Прекрасные юные лица. Неужели это совершается? Неужели возврат к жизни — полной, не стыдящейся себя, теплой, теплокровной, горячей? Свободной... Неужели?.. Я не знаю. Трудно сказать. Я молчу. Эти завиточки волос у раскрасневшегося ушка... И могучий голос кантора: «Разомкни мои уста, владыка, и мой язык воспоет тебе хвалу! Благословен ты, Господь!..» Неужели Кол-нидрей? Свечи... Первая звездочка в небесах.

...Но я ошибся. Кажется, я смешал два празднества. Это неважно. Главное — что это уже жизнь!.. Я плачу. Я почти пою...

Благословен ты, Господь Бог наш и Бог наших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Иакова, великий, могучий, грозный Бог... Запиши нас в Книгу жизни ради Тебя самого!

Твоя глава полна лучезарной росой, Твои локоны — каплями ночи...

ТОЛЯ — ГРИШЕ, В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (1997)

Дорогой Гирш!

Ты передал для меня грант (пожаловал мне грант) — чувство вкуса не изменяет тебе. Ты оживил, реанимировал полуиздохшую традицию... спасибо тебе за это. Я давно знал, как много наши люди духовно подпитывают Запад. Мандельштам полагал, что в будущем поэты станут знатью, и их языком, скорее всего, будет английский. Хотя читатели Набокова и Андрея Платонова отдают предпочтение русскому (перед английским)... Если в русском слово дороже обозначаемого им предмета, то в английском — навпаки.

А мы от трагедии идем к катастрофе. Одесса, говорящая по-украински, — это Помпея погибшая. Уже год, как в Одессе не было ни одного приличного фильма и большой музыки... Промышленность стоит, Пересыпь бездымна. Люди сосредоточились вокруг базаров, обманов, мошенничества, вымогательства, насилия, убийств, взяточничества... Полно голодных людей и собак... Одесса омывается двумя морями — Черным и Кладбищенским. Пошлость вылезла на улицы. Продавцы пения, чтобы привлечь, остановить прохожих, крутят песни карманников. И прохожие, чьи карманы опустошаются ими в троллейбусах, вынуждены слушать песни подонков.

Всего тебе, Гриша, доброго.

ПИСЬМО ШУРИКА (ИЗ ШТАТОВ — В РОССИЮ)

Здравствуй, милый Гиршойхет!

Привелось присутствовать на собственной выставке виновником скромных похорон.

Лиля поплыла советским пароходом в Париж. Эпикурейская пора впечатлений кончилась уже в Вене.

Не зря хочешь постоять и помолчать рядом — я для тебя в загробном мире. Но если поменяемся, не все изменится. Считай, что я пропустил рюмочку и скособочил нос в противоположную сторону.

Письмо твое полно согретых нежностью простудных звуков... Черт знает как иногда нравственное отношение вырабатывает теплые газы.

Тяжко к концу дня: уровень времени подымается — и никакой разрядки, я от всего отталкиваюсь. Раздражительность моя — признак усталости и тоски... Я потружусь — еще один зайчик запрыгнет к тебе.

Трудно писать письма: все выходит накладным — и грудь, и зад. Но большая беда — нет игрового состояния, — без него письма невыносимы.

Ужасно обидно, что не удалось тебя чем-нибудь повеселить, а я любил это делать. Все мы на огромной карусели грустим на обшарпанных лошадках...

Может быть, когда-нибудь увидимся — убогое чудо жизни проявлялось иногда и будет проявлено еще.

Даже на моем длинном извилистом носу уже зима. Ты носишь теперь, наверное, свое коричневое джерси, и злые от холода птички делают тебе на плечо. Все на счастье, на то же счастье...

Италия приходит из прошлого, как нежная радость, несмотря на все сырое и больное, что там было у нас.

Так хорошо с тобой судачить, и если я тебя задираю — это от великого почтения и приязни. В углу есть бренди — это обнадеживает; ты не пугайся — я поставлен в деликатные пределы...

Напиши под малую толику коньяка что-нибудь — хотя бы отрывки высокодуховных бесед с Мишелем, о которых он упоминает. О том, что происходит, когда ты сидишь сиднем и медитируешь в тех же широких, полосатых, как арбуз, трусах. Я рад, что ты есть, — ты пиши, чтобы я радовался, что я есть.

Привет всем твоим близким. Крепко обнимаю тебя.

Твой Шурик.

И БЛЕСК, И ШУМ, И ГОВОР БАЛОВ

— Кстати: если человека распирает от желания что-то сказать, то как прикажете поступить? Жить, жить — и не крикнуть?.. Потом. Когда впереди века литературы и российской истории, и тебя действительно распирает от чужих философских прозрений. Как это было с Герценом с его опьяняющими эллинскими надеждами и скепсисом, который (скепсис) тоже опьяняет в свою очередь — благодаря таланту... И все же. Поразительные прозрения у этого, извините, Вакха русской литературы. В нем, в Герцене, всё: и Радищев — первый диссидент (дались вам эти диссиденты!), первый, воистину первый русский революционер (это заслуга, по-вашему?) — после Аввакума, разумеется, и Пушкин с его художественным переизбытком сил, и хорошо впитанная мировая философская мощь — от древних до Гегеля и Шопенгауэра, — и блеск ума, и здравый смысл, и ирония, и поэзия, и печаль, и темперамент, и широта — широта всемирного человека, если угодно. «И блеск, и шум, и говор балов, и в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой»... Каково?! Ай да Пушкин! Ай да сукин!.. Ну вот тебе и Герцен, о котором *их* поколение — наш с вами молодняк — имеет весьма слабое представление. Что естественно. А гениальные эпиграфы к целой серии романов о времени — и все это, заметь, из Герцена: «Ведь если то, что было, — было, то нет ничего невозможного»... Или: «У нас есть талант повиноваться, а нам необходим талант борьбы». Или: «Если Россия готова примириться, то у нее нет будущего». А ты говоришь...

— Я пока еще ничего не говорю.

— И заметь, «у нас дома нет почвы, на которой можно стоять свободному человеку...» И, наконец, это: «Умеренной свободы не бывает, она или есть, или ее нет. Середины нет. В середине только „или"». Теперь понятно, почему его убрали из школьной программы. Идиоты.

(«Штирлиц! А вас я попрошу остаться на одну минуту!» — вспомнилось мне почему-то.)

НАЗРЕВАЕТ СКАНДАЛ

— Вообще, ты стал всех нас слишком жадно и нехорошо слушать. Особенно меня. Почему я должен это рассказывать тебе? Почему именно тебе?

— Ты действительно все должен рассказывать именно мне...

— Но почему? Почему тебе??

— Потому что ни в ком это так не застрянет. Я слушаю тебя не просто внимательно. Я впиваю твои рассказы. Я становлюсь тобой, когда ты рассказываешь. Я сам рассказываю себе, когда ты говоришь. Я твой рот. И ты напрасно волнуешься. Все это во мне застрянет. Как ни в ком. Никто так не схватит обеими руками на лету твою жизнь, как я. Только во мне щепочка твоего рассказа (твоих рассказов) начнет обволакиваться нежным гноем искусства... Она почти съедобна, почти вкусна. Грех ее выбрасывать.

Твои занозы я превращаю в тело своего рассказа. Пусть застревают. Застрянет то, что нужно. Здесь я не властен. Они поселяются во мне, в моих тканях нарывают, нагнаиваются, дают цвет и влагу, — твоя лимфа идет на мой эпителий, и кровь разносит ее дальше, в самые сокровенные места. Это уже не ты. Это я. Ты преображен, претворен — ты уже стал *другое*.

Не обижайся. Здесь не моя заслуга. И не твоя вина. Так получается. Я просто отзывчив на твои щепки. Во мне болит твой зуб. Представляешь? Я этого хочу. Я прикусываю десну, прижимаю ее к болящему зубу, — радужный мост боли опоясывает мои десны теплой,

пульсирующей шиной. И этот сочный, сладкий, саднящий зубчик — уже мой. Я люблю его. И так просто я его не отдам.

Так назревает скандал. Дождь. Горячий тропический ливень. Зреют яблоки — уже мои. Там твоя косточка, но моя мякоть. Тело моего рассказа. Моя сладостная плоть. Можешь ее покушать. Я ее поливал, но мне не жалко. Ты понял? Так что твоя косточка не пропала.

...Попробуй теперь сказать, что я плохо поступил...

Я ЗАБЛУДИЛСЯ

Я не понимаю, что происходит. С некоторых пор у меня не стало покоя. Все стало зыбким. Не стало уюта в душе. Ветер стал гулять там... Зябко стало, свежо. Ночные звезды лихорадит на ветру, и созвездия ведут куда-то не туда. Что-то лопнуло. Где-то заело стрелку. Небеса дали трещину. Стало темно, и я заблудился. «Мама, где ты? Ребята, подождите!.. Куда же вы?..»

Почему так вдруг стало? Почему было так хорошо раньше и стало так плохо теперь? Объясните мне мою ошибку, мою описку, промашку, кикс, кляксу, не ту ноту... Я исправлю. Если я допустил... Я клянусь. Мы все наладим. Сообща. Помогая друг другу. Жалея.

Еще можно. Еще не поздно. Если взяться, если приналечь...

МЕЖДУ ФОНДОМ И ЛУВРОМ

Потом я вспомнил.

...Когда сырые влажные корочки весны нежно отклеивались от старых крепостных стен и ветер нес облака над бульваром, а у магазинчика керамики, у «Оксамита» сладко грелись на корточках, до треска натянув тугие джинсики на бедрах, братья-художники, друзья фонда и Лувра, и в бороденках их гулял ветер (весна!), и солнышко свивало паутинку в лиловых капиллярчиках в забубенных носах, а в сером зимнем свитере грубой вязки похожий на викинга седеющий Сыч показывал рукой на погоду, и некий Суля покупал из-под полы у знакомого флейтиста киноварь и охру по сходной цене, а Маринюк нес листы показывать Шуне, Хрущик сплевывал на чистую одесскую мостовую застоявшийся зимний харчок, говоря при этом: «Всюду, блядь, поебень... пора менять макулатуру на Микеланджело...» А в это время Дюльфик гипнотизировал продавщицу с озябшими ляжками шириной груди и бицепсов и смелостью портрета, а Стрельников, похожий на Вана Клиберна, уносился по диагонали в синьковую холодеющую Дерибасовскую, ввысь... в это самое время Барыгин сосал мокрую лапу, и Игорек чистил штиблеты и драил плащец, выходя на прогулку из теплого продавленного дивана, светя лучом зуба... в это самое время под прохладными и замшелыми коридорами училища громили выпускника, ногами намалевавшего дипломную работу голландской сажей свежим мазком, а местных аборигенов с прыщавыми лбами и потными подмышками ласкали, модерниста же никуда не пустили и загнали об-

ратно в имени Грекова академию училищ... в это самое время творилась легенда: возводили писсуар нового ресторанного комплекса «Братислава».

И наверху, в подоблачной синеве, балансируя на парапете между жизнью и смертью (между фондом и Лувром), шел Шура Ануфриев закалять гипсовую плиту, покрывать глазурью керамическое небо. Роняя белые статуэтки святых на головы прохожих, оформлял банкетный зал, негодуя на Штивельмана, Рихтер. А Миша в это время говорил: «Штивель с людьми говорит — как в дерьмо вступает... Это у него такой скользящий стиль... И кто тебе сказал, что у Артура испанская бородка? Ничего подобного, обыкновенная черная изморозь на морде... И Павлов не Ницше, и Гриша не маэстро, зато Дюльфик — Каневский...»

Бездомные поэты читали стихи в баре на Пушкинской и сочиняли дикие афиши в подвалах. Апельсинные корки ронял с третьего этажа мальчик, и теплым весенним поносом исходили на деревьях птицы.

К вечеру в алые винные погребки спускались бледные тела озверевших от трезвости богемцев, чтобы через час взойти спелыми газовыми головками и дымными фитильками осветить вечер...

ЧИСТЫЙ ЗАПАХ МОРЯ И ТУМАНА

Между тем Хрущ, увлеченно строгая уже не первый год инкрустированный шкафчик для Мили, сгорбившись над изделием, слегка заикаясь, говорил:

— Г-глупость — это, конечно, д-дар Божий, но нельзя же, блядь, ею з-злоупотреблять! Извини, это я не о тебе. Это я про себя подумал. Чаю не хочешь?

Кто только ни приходил тогда в их общую с Викой квартиру на Новорыбной, 18! Кончалось одесское лето, влажная ночь, как антилопа, ходила по городу. Огромная спелая луна подымалась над Отрадой и горизонтом. Из теплого моря, по-русалочьи хохоча, выбегали купальщицы. Какой-то тип, стоя над обрывом, мочился под луной в Понт Эвксинский. Толпы озаренных придурков бродили по пляжу и прилегающим мостовым и окрестностям. Никто не спал в эту ночь, все было пропитано чистым запахом моря, рыбы, песка, соли и тумана...

Во дворе на Канатной, где жила тогда Маша Марусенко, уже совсем стемнело, зажглись звезды. Под открытым всему миру небом играли в шахматы. Толик Гланц, проигрывая партию Гарику Гордону, слегка опечалился. Но лица не терял и говорил меланхолически (теряя фигуру):

— Ну вот, ты взял у меня коня. Теперь я стал *бесконечным*...

Над Молдаванкой коптил старый, видавший виды месяц...

МИФ О МОЕЙ ЖИЗНИ

— **Ч**то же ты делаешь?

— Я творю миф. Миф о своей жизни. Детство. И никакого отрочества. Юность... Сны. Молдаванка. Грезы провинции... Юг, лето. Грозовое послевоенное лето. Жара. Каски цветут в полях. Жирные стрекозы. Танки. Запах железа. Сухое лето в деревне... Ливень в городе. Клекот свежей воды из-под крана...

Вот он, мой миф. Молдаванские крыши, домики, мансарды. Лошади, площадочники. Шагал и Матусевич. Шурочка Рихтер... Мамуля. И гнилой, светящийся сумасшедший зуб Савлова... Зуд. Гирш в собственном соку. Которого голыми руками не возьмешь. А взять надо. Иначе он возьмет тогда тебя. Савлов изловчился... Нет, не дается Гирш...

Миф. Мифотворчество. Сны... Лиловый цвет катастрофы. Летние сады. Ночные дозоры. Осыпается акация. Мерещится летняя буддийская Москва. Мандельштам.

Цветущие крыши. Примусники. Резерфорды с синими пороховыми черепами. Толя. Ночные сумасшедшие. Плоть. Гений. Кариатиды. Ночное море. Пыльные вишни в саду. Цветы, одуряющий запах гвоздики (белой). Початая бутылка шампанского. Купание в ночной воде. Юра о кинематографе. Дюльф. Солнечные порталы. Одесский Рим. Театр, подсветка, ворох платьев, Дега...

Ноги девочек. Проститутки Привоза. Стихи. Кошачьи набеги. Дерьмо. Цветут туалеты. Ночь. Мотоцикл. Бензинные спазмы мотора. Вонь отработанных газов. Звери в пустом зоопарке. Ночной зоопарк подобен тюремной больнице...

Гейне и Гете. Весна. Утреннее просыпанье. Птицы. Утро, освистанное птицами...

— А скажи, зачем ты свищешь
в этих розовых горах?

— Просто так, — ответил муж,
и тщеславный и тактичный,
расправляя тростью лишний
завиток, что сделал плющ...

И был таков. Это Толик Гланц. Это его завиток.
А вот Аллочка Марголина. Алиса Марго:

Провинциальный русский гений
с еврейской гибкою душой
протер костяшками коленей
кулисы сцены небольшой...

Дальше я не помню. Надеюсь, это обо мне...

Кто он был? Расплакавшийся гений
или исхудалый наркоман?..

Это опять Толик.

О многих из нас. О некоторых из нас. О лучших из нас.

АВИТАМИНОЗ

Тает весна. Стекла машин забрызганы нефтью, свежей водой из-под снега. В машину бьет тугой ветер весны. Пахнуло детством, тортом, сладким сиропом грачей... Смотрю: с изумрудным в морозе лицом, весь в седине из детства, старый Миклухо-Маклай в шапке-ушанке и чуть ли не в трусах с капюшоном. Лик профессора, из Жюля Верна — чело загорелое, отморожены руки... сосульки с усов... взгляд вдохновенный, наполненный звездами... Он просто обжигал своим взглядом горячим, этот Миклухо. Зима... В слезах, в сумерках звезды, подтекают калоши, теплый паркет, книги, уют, тишина, библиотечные полки... «Добрый вечер, профессор», — хочется сказать мне, и я говорю это, и он отвечает: «Добрый вечер, коллега». Бесконечные математические расчеты. Это очень уважаешь... но вижу, что чистое безумие... Все равно, он прекрасен. Рядом с ним хорошеешь...

«Нарциссизм весны, да? Две первые зеленые девочки на Сабанеевом мосту, первые ласточки... Как первые огурцы, первая зелень. Еще авитаминоз, а девочки уже появились...» — Мишель лениво курит и комментирует погоду.

Сабанеев мост заносит рыхлым снегом, бледными цветами весны. Туман съедает памятники... Жрет воду каналов. Каналетто. Дом на набережной... Зимний дворец. Зимний насобачился, сгорбился, готов к гибели в тумане...

...Потом на город обрушилось бесшумное лето. Успенская церковь. Лето и ночь, белая от страха... Дома пугаются друг друга. Испуганная белая ночь в Одессе...

Теплая, темная коммуналка, где живет Гирш, где добротно, надежно пахнет теплыми коржиками и супчиком нежным... Мама подходит к двери, долго прислушивается, потом возвращается в комнату и говорит растерянно: «Гриша, там пришли...» Павлов стоял у порога.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗЛИ ИЗ ОБИХОДА

Ромик рассказывал:

— Все эти Резерфорды, эти примусные головки и иголки, эти югославские партизаны с волосатыми плечами и мастера по ремонту керогазов — все это интересно... Но дубль-пусто, но керосиновые лавки, и Сеня Узенькие Глазки, Сеня Головные Боли (это не тот Сеня, это совсем другой)... Их было трое: Боря Дальтоник, Фред Заморочка и Фима Магазинер. Фима был человек. По-моему, он уже уехал. Иначе его было бы слышно. Он был очень похож на биндюжника, хотя биндюжником не был. Однажды он хотел жениться, уже будучи женатым. Обычное дело. Я уже не помню, что у них там вышло. Жена его любила и боялась за это. Однажды он приставил к ней лестницу и хотел забраться на крышу. Как видно, он ей доверял. Это был артист! Таких теперь уже нет. У него было свое дело: он любил судить драки. Потом он их разнимал — тех, кто дрался. И бил каждого поодиночке. Приговаривая при этом: «Пора выпустить пар изо рта». Это был авантюрист! Например, он подписывался на заем, а потом покупал на свои облигации... коров. Иногда он их доил. Между прочим, он работал давильщиком.

— Что же они давили?

— Какие-то кольца, металл... Я не помню. Сейчас так не давят. Умирающая профессия. Утром Фима шел на работу. До двенадцати он давил. Тут нужна была могучая физическая сила и мощь. Так он работал до пяти, не разгибаясь и обливаясь потом. Потом шел к любов-

нице. И уже потом шел домой — ужинать и воспитывать детей. И при этом пил. И жив до сих пор!

— Ну я думаю... Так жить.

— Такие люди почти исчезли из обихода... После Маргулиса он был самый сильный еврей квартала. Но Маргулис уехал. И остался только он. Однажды он долго бил одного антисемита. До тех пор, пока тот не перестал им быть...

ЖЕЛАНИЕ НЕСЛЫХАННОЙ ЗЕМЛИ

Гирш работал и жил тогда в Советском Союзе, в каком-то коммунальном НИИ. Сгорбившись и круглой спиной закрывая написанное, с тоской и жадностью глядя на закат и птичек за окном, ненавидя начальника и главного инженера, кротко страдая, вздыхая и наслаждаясь одиночеством и безнаказанной свободой, записывал он на листе казенной бумаги сокровенное и важное. Почерк его уходил в текст, как в песок. Он писал, прикрывая рукой написанное: «...Желание неслыханной земли, потому что на этой земле человека страшно унижают. Природа в неповторимо индивидуальном бытовом абрисе, обжитая человеком. Ради того, чтобы все стали неслыханно огромны, должна быть уничтожена одна огромная личность. Но жертва бессмысленна. Что же предпринять? Раствориться в низах, в дворницкой, жить или совсем уже не жить, так как время Юры, расцвета личности, расцвета на еще той земле, где легче было кого бы то ни было любить, нежели ненавидеть, кончилось. Время стало расплывчатым и абстрактным понятием. Реальность мира, вещность и вечность мира перевешивали все временные установки. *Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?..* Сакраментальное тысячелетье — это и Байрон, и Эдгар По. Люди, романтически преобразившие тысячелетье, которое все — метель...»

— Тебе интересно? — неожиданно спрашивает он меня.

— По-моему, это замечательно, — говорю я ему поспешно. — Очень верно, очень точно, очень здорово. Мне нравится. Мне интересно.

— Ну не знаю, не знаю... Может быть. Наверное... — вяло отвечает Гирш. — Но кому это?..

— Кому это нужно? Мне, например.

— Это уже немало. Тогда продолжим: «Бытие духа всем домом... В этом стихотворении мольба открыть дверь наружу. Ибо в общественном забвении прошла жизнь...» И так далее. «А годы шли примерно так, как облака над мастерской, где горбился его верстак...» Ну ладно, все. Наверно, достаточно...

Он неожиданно спрятал бумаги, и мы закрыли тему.

...Потом, когда Гирш уезжал, он не решился взять с собой свои «производственные записи». Оставил их Мишелю, в большом полупустом чемодане, где были свалены (в свальном грехе) стихи и письма, записки, записочки, записи, описи, прописи, рисуночки, алгебраические формулы, случайное обеденное меню, опять стихи и прочее, и прочее, и прочее... Ирочка посылала ему стихи, написанные прозой, в частных письмах. Но успела послать не все. Кое-что осталось. В том же чемодане Мишеля. Там было много всего... Очень хотелось это напечатать потом. Но было еще рано. Было еще нельзя.

ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ КОСТРА

...Горел, догорал диван Павлова.

— Поджарим их на медленном огне, — говорил он в азарте. — Но лучше на быстром.

— Кого — их?

— Клопов. Они заслужили это высокое пламя. Они меня извели.

— Ты просто безумен...

— А ты?

— Да, и я безумен. Ну и что из этого? Ровным счетом ничего.

Догорает диванчик, дотлевает прошлая жизнь, трещат и лопаются клопы... Там такой маленький металлургический заводик внутри, плавильня... Кто бы мог подумать — завод Павлова! Там бушует алхимическое пламя, плавятся слитки золота, золотые слитки жизни. Воняет кожей старого кресла, старого мира. Дерматином, опилками, всем, чем был набит диван — горелым тряпьем, керосином, железом... Там шевелится огонь, и души клопов улетают к небесам. В мерцающем перегаре железа роятся птицы. Очистительное пламя костра уносит дурные мысли и поступки... Мы не можем оторваться от этого зрелища. Весь двор завороженно смотрит на это аутодафе. «И мы преобразимся», — шепчет кто-то...

Диван догорал уже вторые сутки. Наконец дождь загасил тленье, костер зачадил.

— Слава Богу. Я от него избавился. Хотя он знал и помнил много прекрасного. Помнил счастливые дни.

Наши разговоры, чаепития. Наш бред, спиритические сеансы, беседы, исповеди, любовные признания, стук сердца и часов...

— Тебе не жалко?

— Мне жалко. Но мне не жалко. Это *должно* было случиться. Рано или поздно. И это произошло. И слава Богу.

ИЗ ЗАПИСОК ГРИШИ НА СЛУЖБЕ

...Сроки выдачи информации, сроки выдачи информации. Наименование документации, наименование операции. Операционные инструкции. Получение инструкции, изучение конструкции, наименование обструкции, дедукции, абстракции, редукции, резекции, апперцепции...

Сроки проверки... Сроки проверки...

Сроки кончены, сроки кончены... Кончены дела.

Синкретизм жизни, отверстой, открытой всем ветрам, идущей под всеми парусами... Секуляризация жизни и принцип неопределенности (в смысле дополнительности), центробежное стремление личности и центростремительное — государства. Застылые глаза...

Как было бы неплохо, коли б можно было (бы, бы, бы) работать ровно и получать от работы тихое успокоение, тайное забвение. Излишний скрежет и боль. Боль. Быль. Билль. Билль о правах... Боль о правах.

...Все дальше во времени, все страшней... Творчество, жречество, старчество. Пиршество. Пир. (Меню: салат, две кружки пива, яичница с беконом... Меню Ильича.) Но как понять творению Творца? Святой дух. Демократия. Как понять Творителю — творенье?..

Когда огонь уносит ввысь поленья
и дым земли уходит к праотцам,
как понимать творителю творенье?
Как узнавать творению Творца?

Вот так. Вот как, вот как, серенький козлик...
Сроки проверки, сроки проверки.
Сроки кончены. Сроки кончены... Отбой.

ОПЯТЬ СНЫ

Мне снился город, мой, южный, город юности и детства. Было лето. Кто-то сказал, что будут показывать фильм, что будет интересно... Посмотрим. Хрущик, кажется, был. Я не помню. Нет, был определенно. Мне трудно сообразить, что там у них (у нас) пошло дальше... Текст сна был странен. «Крепкая (?) слюна висела на морде толпы». Я дико озираюсь. Кто это сказал? Не я. Твердо помню. Хотя во сне — за что можно ручаться? И за кого? Мы шли сообща — в дверях, во дворе, во дворце — теплая ночь, деревья, Азия... Серое небо, балконы, балкончики... а на деревьях висят маленькие игрушечные больницы... Там идет жизнь, своя, с больными, *операсьонами*, дежурствами, нянечками, халатами... Идет жизнь. Идет.

Потом все внезапно меняется. Что-то происходит. Что же? Я никак не могу набраться смелости. Смелости дать себе волю — пойти вслед за текстом — свободно, без насилия (над собой и текстом). А кто может? Немногие. Фолкнер, например, тот мог. Хотя тут ошибка: его плотное, невыносимое подчас косноязычие схвачено крепкой волей. Там узда. Уздцы. «Под уздцы мужичок...» Фолкнер, наверное, был мужичком. Оставим это...

Кто это там рядом с Хрущиком? «Экзюпери какой-то, Юрочка Новиков», — сказал Толя. Неофиты в теплой пыли, далее — Грузия, генацвале, автор «Слова о полку», какие-то девушки с обнаженными ногами (во сне), степь, тополь, балкон — это идет фильм. Немой. Оказывается, это все безумно интересно... Какой-то поп-арт. Поп-кино. Нью вейв. Сюр. Чистый отмороз. Акция, акация. Аван-

гард, если хотите... Вечереет... Скульптурный юнец выходит из извести, весь в замазке, с каким-то горельефом (на плечах). И убогие ребята из третьего подъезда. Они поют, пьют — и не могут напиться.

А вот и последний кадр: Хрущик нежно раскладывает на земле свой железный пасьянс: замочки, задвижки, железки, стамесочки, крючки, ключики, фотодетали... Он священнодействует... Потом начинается метель. Пушкин надвигает на лоб цилиндр, поднимает воротник, запахивает шинель и исчезает в снежной завирюхе...

ОДНАЖДЫ Я ПРОСНУЛСЯ И ПОНЯЛ

Когтистые деревья дико стучали всю ночь в деревянные стены. Окна срывались с петель и летели по мокрому ветру... Дожди умирали в лужах... Зеленый город захлебывался синей вечерней водой. В желтых ливнях плыла глинобитная Азия... Рыжая Азия на ишаках в синем мундире проносилась мимо.

В эту ночь я проснулся и понял: все равно, какая страна за окном, все равно...

Выгляни: качается дождь на деревьях, дождь заливает планету с обоих боков, все города одинаково мокнут и щурятся в эту пахучую мглу... Запах земли... Неужели и он не везде одинаков? Теперь, когда я смотрю в азиатскую непогоду, понятие родины вновь возникает во мне...

Когда-то Россия так меня мучила... Я слишком любил ее, без ответа. Довольно! Обнимаю тебя, мир, залитый дождями, обнимаю всю землю...

Но все равно — где-то слева болит, кровоточит Россия, моя любимая страна...

ПИСЬМО

«Итак, пишу третье письмо:

Я устал безумно объяснять вам!

...В России может быть здоровым, счастливым только борец за народное дело: Сахаров, Толстой, Ленин. Или партаппаратчик, или стяжатель, или спекулянт. Такая страна, такой народ: почитайте внимательно Гоголя, Бердяева, Соловьева, философов русских — они в ужасе от народа своего!!!

Запад — абсолютно другое дело: каждый за себя (исключительно!). И это правильно: слабый а) морально, б) физически, в) интеллектуально и так далее получает только самое необходимое от общества — еду, крышу над головой — и все. В России все, абсолютно все получают условно: еду и кров. Но — талантливые, сильные, хитрые, умные и так далее на Западе получают действительно *все:* славу, деньги и тому подобное. Нет, вы послушайте лучше меня! (И не перебивайте.) Я устал повторять: Россия — страна рабов, славянин — раб. Я жил в рабстве 47 лет, 20 лет потратил на Союз (художников), — вместо того чтобы жить как свободный человек. Поэтому повторяю десять раз: язык — все, без языка — ничего. (Жажда — все, имидж — ничто.) Я зарапортовался.

...Например, Элла, дочь Исаака Абрамовича, два года, с восьми до восьми вечера сдавала экзамен на доктора — в дальнейшем ее зарплата от 60 тысяч долларов в год до миллиона долларов в год же! Она знала, на что тратит время...

Оставьте питье, болтовню, девочек, депрессуху — язык, язык и еще раз язык — вот что необходимо (и достаточно) для победы!!

Обнимаю. Пишите, сволочи! Всем приветы.

Люсьен».

МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН

— Хочешь, расскажу тебе один фильм?.. Был единственный сеанс. Тебя не было. Тебе не повезло. Но я расскажу.

Фильм странный. Дерганый, судорожный, рваный какой-то (местами). Полунемой. Рваная раскадровка, чудовищная документалка... Холод, зима, звук холодного железа... Отчаянный холод века. Скрип дверей (или двери), визг железного засова... Теснота, выморочность лиц. Чахлая растительность, туман... Вшивое холодное утро тридцатых, когда идут брать уголовников... Холодрыга. Синюшные лица, синева какая-то нехорошая — кругом и под глазами. Скрип портупеи — это еще оттуда, из гражданской. Сыто скрипят только ремни, и выправка появляется только в минуты опасности, в час большого шухера. И курят. Курят. Чтоб забыться. Чтоб не ошалеть от голой правды ободранного холодного времени...

У жильцов не лица, не головы — черепа. Жарков, например, кажется, впервые показался. Такие как бы симпатичные, обаятельные оперативники. Ребята, которым ничего не нужно: сон (если это вообще сон, а не забытье) на колченогой кровати и кружка кипятка с куском, — правда, сахара — но ведь его могло и не быть (куска). Зато — очистить землю от нечисти и посадить сад. Через четыре года здесь будет «город-сад». Очень даже возможно. А пока — какая-то общага, халупа, запах карболки.

— Ты меня покормишь, Патрикеевна?

Очень бедный диалог, как крючья вспоротой консервной банки.

— У меня поживешь?

— Тут и там. Всяко.

И какой-то ужас все время предчувствуется. Как-то очень нервно идет камера.

И вот оно, начинается. Миронов, который никак не может застрелиться. Безумная физиологическая подробность и достоверность. Щупает дулом лицо, лоб, ухо. Не знает, как им (дулом) распорядиться. Дуло толстое. Лезет им в рот, горло, несколько раз... Позывы на рвоту. Нажимает — осечка. Не может. Понятное дело. Потом судорожно толкает пистолет в раковину отлива и неожиданно стреляет. Нелепо, не туда. Идиот. Так явно не туда... Поразительная достоверность и подробность. Ужас подлинности, тот самый... («Есть ужас подлинности в бритой голове», — вспомнил я почему-то стихи Валеры Дедушева.)

И солнечное очарование Руслановой. Удивительная актриса. Играющая актрису. Потому она и живет в атмосфере фильма, что жить может только в атмосфере правды. Ей в этом фильме вольготно, потому что она *оттуда*... Умеет в этом отношении быть почти гениальной.

И тут же — мощное, неизрасходованное дарование Болтнева. Лапшин. Кажется, что его хватит еще на сорок серий. Жлоб... Как бы, якобы. Но какая наивная мощь человека тех, тридцатых! Челюскинец он, что ли? И потом песня, от которой все мы замерли: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, мы с вами, мы с вами, хоть нет нас в колоннах...»

С визгом поворачивается трамвай. Гипсовые памятники, бюсты и полубюсты. Парковая скульптура. Обледенелые могучие, почти античные торсы убитых в грузовике. Трупы, припорошенные снегом. Туман. Утро века. Собачий холод... Тяжелый Лапшин в полушубке и унтах (папанинец какой-то) поднимается по тонкой, ломкой (любовной) лесенке. Лезет в окно. И Нина, белая, гипсовая, похожая на озябшую Уланову, смотрит в замороженное стекло...

Шероховатая и чистая сцена в комнате. Целует ее, не успевшую одеться, в каком-то пальто на босу ногу...

— Как было бы хорошо, Ваня, как было бы хорошо... Я Ганина люблю... Стыдно вам за меня?

И он уходит.

...Опять общага. Патрикеевна. Шахматы, Капабланка, Маяковский только что застрелился... Запах времени. Как запах карболки. Что-то очень санитарное. «Несет меня лиса за синие леса...» Лиса Патрикеевна, наверное.

— Маловато заплатил.

— Тяпнула небось?

Бедность диалога.

И старушка, старушенция какая-то достоевская... И словечки, подразумевающие целую жизнь. Оревуар, резервуар... Лапшин, попадающий голой рукой в кипящее белье. Ошпарился. Нелепое движение четкого, уверенного в себе человека. Чуть не сломался на пустяке... (На пустяке?) Какой-то чеховский ход.

Но самое страшное — когда берут банду. Вымерочные подонки, патологический убийца. «Дяденька, не стреляй!» И почти убийство, ножом, в живот, журналиста. Невероятная, небывалая в нашем кино сцена в грузовике, где лежит и сучит ногами раненый (почти убитый)...

И снова жизнь. Воскресенье. Воскрешенье. Из мертвых.

— И правда, Вася, ты слишком много сахара ешь...

— Боже, как болит голова!.. Как у меня болит голова... В этом городе на каждого человека по оркестру... У меня вторая за день мигрень... Вы так живете, как будто ничего не происходит... У меня есть Ганин, у Ганина есть Лика... А вы? Приходите ко мне в гости...

Какая умница эта Русланова, такая несчастная, такая живучая...

...И опять — визг и скрежет трамвайных путей. Зона какая-то. Где-то должна быть колючая проволока... И это жизнь? Не может быть. И тем не менее...

Живуч, бессмертен многомиллионный народ. Убить его трудно. Зато можно смертельно ранить. Слишком большая кровопотеря. Авитаминоз. Зима.

...Пароходик, отходящий в мутный туман... Оркестр на пустой трамвайной платформе. Жизни как бы нет... Она была? Она будет? Неясно.

Куда-то прошли пионеры с горнами... Снова — трамвай, поворачивающий и выезжающий из кадра.

Портрет вождя. И песня — о ком-то там мудром, родном и любимом... Парк. Туман. *«И некуда бежать от века-властелина...»*

Фильм куда-то уходит, размывается. Начало. Это только начало... Конечно же, в этом фильме нет конца... Нет ему конца, и все тут. Нить жизни тянется... Еле живая, но сильная, как видно.

— Вот, галоши потерял...

— Вера, я горжусь тобой...

Провожанье. Все куда-то уезжают. Может, жизнь еще будет. Но в кадре мы ее не увидим...

— Боже, как болит голова!

В самом деле, как она болит...

ПРОПОЛОЩИТЕ ГОРЛО ЧИСТЫМ РАСТВОРОМ ВЕЧЕРА

Из записок странного человека

Укладываясь спать, тушите огни — но так, чтобы пурга не замела вас в постели...

Помните: сон труден и опасен. Не каждый знает, что во сне случается многое. Смотрите внимательно свои сны. Это ваша главная жизнь. Не отдавайте ее взаймы.

Ваши сны не вернет вам никто.

*

Будьте осторожны с рептилиями. Их всегда больше, чем кажется. Они — везде.

Грубо жить можно. Но для этого нужна известная тонкость и умение (жить). Начинайте всегда с конца. Так вы всегда придете к своему началу.

(Я знаю — я вас не утомил. Поэтому я продолжаю.)

Остерегайтесь собак. Собаки — те же люди. Они знают о вас все. Уклоняйтесь от встречи с ними. Не подавайте им руки.

В судорогах ищите смысл жизни. Прочее — гиль.

Переходя улицу, оглянитесь по сторонам — и, не увидев ничего подозрительного, не переходите ее. Так вы застрахуете свою жизнь от смерти.

*

Будьте как молния. Успевайте. Если можете, преуспевайте. Никогда не откладывайте на завтра то, что вы уже сделали вчера. Уничтожьте это немедленно.

(Будьте начеку.)

Дым — оргазм автомобилей. Принюхайтесь к нему, проникнитесь им, запомните его навсегда. В нем ваше прошлое, ваше неясное будущее, ваши запахи и запахи дорожных происшествий.

*

По утрам тщательно опорожняйтесь в клозете. Сливая воду, следите за тем, все ли из того, что вы оставили, смыто этой водой забвения... Будьте придирчивы.

Старайтесь иметь чистую мыльницу, чистый футляр для зубной щетки вашего рта.

Помните: махровые полотенца могут быть раем, персидской сиренью, предчувствием совокупления, знаком и признаком вашей свежести.

*

Пища, вывалившаяся изо рта вашего соседа, может обернуться выгодной для вас стороной. Ждите этого часа.

Будьте одиноки. Тогда вы увидите звезды и землю, со всех сторон охваченную небом...

Только трава драгоценна. Ибо она не придумана, не позаимствована. Она всегда есть, всегда была. Доверьтесь ей — и аммиачные запахи университетских коридоров не властны над вами.

*

Освободитесь от премудрости, которой вы наглотались в часы и годы учеб, — прополощите горло чистым раствором вечера и подымите ясную голову. В каждое из отверстий вашей головы войдет ветер — и это будет предпосылкой счастья.

Любите ли вы громоотводы и стабилизаторы? Это важно. От этого зависит все.

Стабилизируйтесь.

*

Не становитесь в позу.

Не становитесь в позу любителя.

Не становитесь в позу любителя хорошо поесть.

Голодайте жестоко.

Избранные — это голодные.

Старайтесь быть избранным. Но не переизбирайтесь на второй срок. Это чревато.

*

Есть нечто бесчеловечное в этих перелетах. Самолеты — это безумие. Надо ходить. По воде. Босыми...

По щебню гор ходите босиком,
заучивайте лунные уроки.
Упейтесь ветром, звездным сосняком,
любите соль — и будьте одиноки.

*

В лекарствах на столике вашего отца — весь остаток его жизни. Квинтэссенция старости. Бродильные ингредиенты его мудрости. Кристаллы усталости...

Разбейте этот столик — омолодите вашего отца — напоите его своей отвагой, чистым запахом крахмального белья, березовой свежестью вашего мозга.

Ледяной душ звезд обрушьте на слегка пропотевшее ложе. Освежите своего папу.

*

Бойтесь пустынных переулков. За каждым углом вас может ожидать нищий: вам придется ему что-нибудь дать. Отдав ему все, вы развратите его, не дав ничего — озлобите, дав немного — опошлите.

Поэтому старайтесь не попадаться ему на глаза. Однако встретившись с глазу на глаз, не размышляйте — убейте его. Но так, чтобы он остался на месте с протянутой в вечность рукой...

*

Если вы никогда не болели скарлатиной — это плохо. Заразитесь — и к вам вернется детство. Почувствуйте себя маленьким, потребуйте апельсин...

*

Отпустите эту опору — вашу службу, ваш хлеб насущный, ваш трудоемкий диплом — и вы воспарите!

..Затрепетать бы! Хочу трепетать, как листики, как трава, хочу зябнуть, хочу слабо болеть и лечить гланды сиреневой водой дождика.

Сухожилия, ушные хрящики моих друзей лечить хочу...

*

Скотобойня болеет мясом. Пушным зверем пахнет Сибирь. Тигровыми загривками наливается хребет моей шеи. Я весь в мускульных извивах, как дерево.

Я в звездах. Я везде. (Впрочем, я отвлекаюсь.)

...Я клоню в сено исхудалое лицо педагога, иссохшее от прозрений. Мудростью наливаются мои глаза, и пот честолюбия омывает мои ноги...

*

Хлорной известью шибануло в нос: это вокзалы. Ночное бдение пассажиров. Бедствие. Сон настиг их, как смерть.

Русское поле. Татары... Зима. Хлороформ. Повальное бегство. Мертвый шевелится, встает. Идет, шатаясь, неверными шагами, переступая через спящих. Идет, не просыпаясь, в тусклом электрическом свете преисподней, в туалет. Потом возвращается и снова ложится — в братскую могилу.

...Зачем его разбудили? Смерть так прекрасна...

*

...На улице лето.

Из пахучего шланга дворничихи обрызгали гравий.

В деревянных скамейках скопилась молодая роса.

Просыпаются мальчики.

Ночные планеты тихо сходят на нет.

Разминают затекшие косточки птицы.

Крикнул цветок.

У девочки болит и восходит грудь.

Она кричит.

Сладко.

Сладостно.

От юности, от росы...

ПАСТОРАЛЬ

Сухое керамическое лето уносится по диагонали в трамвайных стеклах.

Пусто в скверах. На скамейке сидит старушка и гладит морщинистое яблочко для внука-акселерата. Внуки гурьбой выходят из гимнастических аудиторий, и врасплох их застает потусторонний свет из облаков...

Художники, облокотившись о парапеты прилавков и могил, следят за небесами. В храмах тихо. В узких витражах церковных окон кающийся грешник возносится. На землю льется свет. Колоколам еще не время... Тихо мерцает в подворотнях свет воды, оставшейся от утреннего ливня...

В городе моем растут большие мокрые платаны, живут собаки и дети... Дети строят храмы на солнечных верандах (из травы). Там купола из влажных листьев и водорослей образуют вход (и вдох).

Никто не гонится за славой и куском. Все благодарят Того, Кто вечен, за доброту. И каждый полон мыслей... Каждый достаточен, довлеет сам себе. И видит братьев — таких же, счастливых тем, что они всем братья...

Таков сегодня город моей мечты.

ЗИМА. КОНТИНЕНТ. СТИХИ

Вот и американская зима. И Шурик рядом.

Вспомнились почему-то старые стихи:

> Брал зимний ветер город на ура,
> и каждый кустик к дому жался.
> Еврейский праздник продолжался
> о самого тяжелого утра.

Но это было еще там, далеко, в России, в Совдепии. В Эдессе, в эдеме... Нынче все не так. Все иначе. Хотя... почему иначе? Хотел бы я знать...

Наваливается ветер и возраст, снег и время. Арлекины заскучали, постарели. И носы у них повисли. Жабо осыпалось, потускнело. Вообще грустно...

Мишель уехал. Гирш тоже не звонит. Уже три дня...

Седеет ночь. Океан за окном затаился. Дышит протяжно и мощно под панцирем луны...

Океанские пляжи пустынны. Черепахи и крабы зарываются в песок, звезды лихорадит на ветру. Холодно по ночам в громадных освещенных подъездах, и свищет правремя в пустых провалах мироздания... Телефон молчит, остывает чай, дымит сигаретка, дремлет влага в коньячной таре... *«Пошевели хвостом, Акита, по трюму разгони тепло»*. Идет вереница, почти арабская вязь Шуриных коротких стихов: *«В разгар зимы, среди обуз преобрази Георгия в Егора и позови Сёрена Кьеркегора в беседку муз»*. Что-то в этом роде... Хотя я явно переврал.

Я переврал. Наверняка. Прости. Я перебрал, а мне еще грести против теченья — и просить прощенья, держа стихи в протянутой горсти, в разгар чумы, в предчувствии сумы... Ну и так далее.

Или:

В Америке зима, как, впрочем, и везде.
Взыграет снеговей и океан охрипнет.
Жизнь вяло тянется в привычной борозде —
не крякнет, не вздохнет, не вякнет и не крикнет...

Примерно так мог бы написать Шурик. Но не написал. Зато он написал другое:

Теплом дышало АГВ неровно,
жильцы укутанные спали,
часы тихонько время толковали,
и Ягве в Библии хозяйничал любовно...

Прусак сухарь грыз завалящий,
моль ела старое пальто,
под одеялом в клеточку лото
как мертвый улыбался спящий...

По-моему, прекрасно.
И еще, совсем недавнее:

Спасибо жизни ледяной
за шерстяное одеяло...

Но сегодня почему-то вспомнилось уже совсем забытое, но очень теплое:

Не медли, Шурик, на гешефт,
с трудолюбивой встань ноги.
Уже, поди, давно твой шеф
любовно чистит сапоги...

Или:

Здесь, у зеленого бюро,
глядят на восходящий вирш
сутулый Ребе, Шойхет, Гирш,
Шагал, Сутин и мим Барро.

Хорошая компания. Которой на Воровского, как видно, уже не собраться.
Впрочем, кто знает?..

ПРОЗА, СИБИРЬ, СНЕГ...

По дороге в новосибирский Академгородок меня встретил совершенно идиотский лозунг (слоган?): «Аэрофлот обеспечит вам полет!» В Одессе я бы не обратил на это внимания. Впрочем, Бог с этим...

Великолепный джемпер на этом ученом. Теплый, двойной вязки, светло-коричневый, цвета томленого дерева (топленого молока). В нем утопают звуки, дремлет цвет, сумрак... Около него глохнешь, как в снегу. И тишина шагов на чистом, теплом деревянном паркете. Тепло.

Увешанные значками студенты, технари, интеллектуалы под интегралом. Юность, пронизанная нечистой венозной кровью. Фотоаппараты, журнальчики, сигареты... И я был таким...

Худая аскетичная девочка с огромными глазами. Где уже видны бездны... Она смотрит... Почти не дышит. Чувствуется нервность, зажатая страстность, поросшие недетским пухом оголенности. Скоро она будет это о себе знать. Девочка в алых рейтузах у фонтана. Стройные, еще детские ножки в валенках. Светлое лицо. Блики воды...

Лаврентьев принимает академиков и членкоров. Полубанкет, оживление, темные костюмы, черная икра... Кинооператор.

Табун восьмиклассниц. Кобылицы... Уже недетские (полудетские) лица — и очень женские, очень зрелые формы, рвущиеся из пелеринок. Табун, табун... Деревенский запах молока. И перепачканные чернилами пальцы...

Я ПРОСЫПАЮСЬ В СЛЕЗАХ

Что же мне снилось (все-таки)? Паневежис или Одесса? Что-то среднее. Как это часто бывает там, во сне... В ярких тканях, горячих южных цветах — девочки, девицы, юноши — Одесса, лето, Сеня, Леня, Соня, «их девушки» — «их нравы»...

Далее: ночь, Аркадия, смуглые тела, почти обнаженные груди, золотая пыль припудрила грудные железы начинающих Кабирий — смех, звезды, соленый запах еще теплого моря, песок, сигаретки — они все куда-то дружно идут, свободно, вальяжно, раскованно...

Что там было дальше?.. Они как бы шли к морю и на ходу ели, просто пожирали, обливаясь густым нечистым соком, мороженое... И одна, совершенно безумной красоты девица, с глупым, но одухотворенным лицом, ликом, — вообще непонятно, откуда она, — шла, плыла боком, и я не мог понять (во сне), почему она не идет ко мне... И тут в нише — как статуя — видение: братец ее, античный юноша в роскошной тунике до колен, обшит золотом, — стоит и ждет, не шевелясь, красавец, смуглый, курчавый; их влечет друг к другу, и я ничего не могу поделать во сне, я пытаюсь крикнуть — и вдруг понимаю, что она не может увидеть меня, — у каждого из нас свое сновидение, и проснуться невозможно... Я просыпаюсь в слезах оттого, что это могло быть моей жизнью, но не стало... Но все это было. В *той* моей жизни. В которую я не вернусь никогда...

ВЕТЕР СЛАБЫЙ, ДО УМЕРЕННОГО

...Жду тепла. О нем слабо напоминает не тающее под морозным солнцем Хаджибея, затвердевшее от ветра белье в наших старых итальянских двориках какого-нибудь бывшего палаццо, какого-то там Гонзаго, с мраморными пустыми колодцами, заросшими тишиной, эпохи Цезаря Борджиа или какого-нибудь там Бенвенутто Челлини... Античная мраморная отрыжка, золотая окрошка известняка, синие венозные отложения солей на бедрах и икрах немолодых кариатид...

*

Страшненький декабрь с полумертвым от стужи сизым алкогольным лунным ликом кончился. Еще зима, но в воздухе уже намеки... И старушки, которые еле живут в своих зимних окошках, показали свои старые рембрандтовские лица и кости в чепцах. Грея остеопорозные косточки на острие солнечного луча, задремали, задумались о смерти, о весеннем равноденствии, о равнодушии. О долгожителях, которые их переживут. О лете, которое переживет века...

*

А когда забегают по молдаванским улицам курчавые смуглые мейделе с влажными от весеннего пота и цветения шеями и Мотя Нудель откроет оживленную торговлю в любимой лавке «Стеклотара» (напротив), — выйдет тогда на прогулочку, на свою королевскую охоту за крупными мелочами быта, смутив полную весеннюю

лужу, осыпанный крикливыми попугаями, овеваемый фиолетовым пером на воображаемой шляпе, незабвенный художник.

— Послушайте, — скажет он, — почему я так люблю эту нашу первую библейскую травку на сараях, эти первые весенние кляксы на земле и в тетрадях? Я не знаю...

*

Сегодня старый Новый год — «а наер юр» по московскому календарю.

В эту пору городок провинциально затихает; кварталы Привоза, тихо плача, одеваются в талые сосульки, кубики асфальта посыпаны зимней крупной солью. Морозец и таянье тихо противоборствуют. В это время старый Новый годик, как бы поскользнувшись на ледяном ветру, делает в глубокой проруби дворового сортира долгожданное нами «бултых»...

— Ах ты, куколка моя дорогая, — скажет, разнежившись, дочка маме в какой-нибудь там Москве, — почему ты, куколка, сегодня такая закашлянная с утра? Надо куколке дать молочка...

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЕТА

Сон в весенней деревне... Цветущие, теплые вишни. Клейкие стволы... Пчелы, облетающие зрелую землю. Лето созрело. Булькотанье молока... Тепло!.. Зрелое гудение пчел. Гуд... Утро. Голуби... Синее небо, радость. Мед... Жизнь.

— Ты уже встал, Гедали?

Это мама. Мама спросила и вышла в деревянную дверь — в солнце, — и исчезла, унесенная солнечным ветром. Она сама стала светом... Где я был? Я спал под пахучим деревенским пододеяльником и совершал бессмысленный полет в узорах обоев. Узоры пульсировали и держали меня крепко.

— Ты уже встал, Гедали?

Мама ушла, оставив эту поющую фразу в хате, и она повторилась. Меня спрашивал мамин голос. Я уже встал. Гедали — это я.

Я, ослепший в прохладном полумраке деревенской кровати, откинувший козлиную шкурку одеяла, ослепленный смуглым блеском своего детского тела. Я, согреваемый вечным, бессмертным библейским огнем моей бабушки Мирл. Я проснулся. Смуглый отрок с тонкой еврейской кожей и потрясенным скелетом. Тонконогий курчавый ингеле встал горячей от сна стопой на деревенский пол...

Оставляя жидкие морщинистые кизяки на утренней земле, в глубину двора уходила корова. Вишневые стволы горели на солнце... Белье улетало в синее египетское небо... У моего глаза, потрескивая, как на огне, сидела стрекоза.

— Маня, увизьмить свое видро, он уже полный!

Эта бабушка Мирл.

— Гедали уже встал?

Я беру стрекозу за твердое бестрепетное крыло, с трудом отдираю ее от своей головы, смотрю в выпуклые, неземные глаза, в которых ключевой холод; она выгибает горячее длинное тело в пластинках, присасывается к самой себе... Я ее отпускаю, и она, подумав, летит в огороды. В полете я вижу, что у нее голова в скафандре.

— Ты уже встал, Гедали?

Я уже встал...

ВЛАЖНАЯ ЗАВЯЗЬ ТРАВЫ И РЕЧИ

Это одесское лето, одесское гетто, толпа озаренных придурков, это влажная завязь травы и речи, морской соли и сырого тумана, косноязычие одесских долгожителей, подвеянных поэтов, тихих задумчивых сумасшедших, хитрых шахматистов и расчетливых утренних философов...

Это утренний кефир и полдневное солнце над горячим от жизни Привозом, Молдаванка с покосившимися улицами и древними, подмытыми артезианскими и фекальными водами, дворами, где долго не гаснут закаты, и на бледные лица слепых кариатид ложится к ночи теплая, бессмертная одесская пыль...

Это сладкий дым и смог загазованных пляжей, Златы Пяски еще не загаженной Дофиновки, свежие жабры бычков-гладиаторов, борющихся с тяжким воздухом моей отчизны, моего любимого греческого полиса, моей старушки Пальмиры...

Восхитительный запах дерьма и отечества! Где сливочный ампир и классическое барокко, цветной торт лепных карнизов и ломкий бисквит известняка, дворовые сортиры, дождик на станции Сортировочной, мокрые рельсы и тоска переездов.

Там по утрам над Отрадой встает высокое свежее море, которое пахнет степью и неубитой рыбой... Там не слабеет целебный запашок водорослей и йода, и в августе на скалах крепчает зловоние мидий, черной и жирной морской травы...

Это — память о временах, когда под Одессой, как под сердцем, ходило большое свежее море, и в турецком чаду кофеен подымался над Ланжероном жертвенный шашлычный дым...

СИЕСТА

Итак, лето. Великое, поистине королевское лето 1952 года. Десятый класс. Чарли Чаплин. Экзамены. Горячее лето, разнузданное цветение акаций, дурман синих вечеров, пыльные цветы, предвкушение грозы, чувственность... Кровь яростно выметала соль из закоулков и неслась по венам. Аркадий Карп. Лето. Полдень. Горячий полдень, одесская сиеста... Собаки, вывалив фиолетовые языки, ошалело ждут дождя... Цветущие каски в полях.

Откуда эта книга? Зеленая пахучая обложка и золотые буквы тиснения. Панас Мирный. Вот это художник!

Пчелы гудят над текстом. Пахнет медом, гречихой... Я переворачиваю страницу, и рука моя увязает, вязнет в густом меду замечательной прозы...

НАД МОЛДАВАНКОЙ НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

...На балконе шумит дождь.

Там ночь. Древняя ночь, похеренная культурой. В тропических ливнях зреют папоротники. Мокрая тьма, в которой набирают влагу нездешние растения. Треск молний над дикой, но плодородной планетой.

Уснул дядя Моня, спит дворник Степан. Спит без сновидений. Дышит алкогольным смрадом, дергает во сне деревянной ногой... Уснул безумный Наум, спит тетя Геня, снится ей (почему-то) Испания, Израиль, дядя Монус в чалме, слепой продавец примусных иголок, обливающийся потом, гнилой и сладкий Привоз, дочь, выходящая замуж за араба...

Спят жители и соседи, квартиросъемщики и жильцы... Уносится вприпрыжку ночным богомолом, хромающим кузнечиком чужого несчастья ночной гость по мокрым крышам и исчезает в кромешной тьме, в теплой одури дождя...

Шумит, шумит над Молдаванкой первозданный ливень... Я подставляю под дождик свою бедную сумасшедшую голову, остужаю ее — и тоже иду спать. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи...

ЭТЮД К ПОСЛЕСЛОВИЮ

...Герои романа продолжают свои беседы и по сегодня. Наверное, в этом смысле он заключает в себе библейскую парадигму (люди под теми же именами/масками живут в ролях, назначенных им тысячелетия назад).

Синкретичность текста: стих преображается в строку прозы, а слово «роман» угодливо преображается в «роман(с)», что сообщает легкость, необязательность и музыкальность жанру, его неуловимость. Все дано в романсовом абрисе. И Одесса, и герои роман(с)а сливаются в экзистенциальном угаре в одно лирическое целое.

Одна из главных интонаций — ирония. Она, как легкая пыльца, покрывает — нет, пронизывает ткань повествования/кантилены. При всем том — стилистическая заимствованность. Эти мелодии мы где-то слышали, что-то читали в прошлом... Эта заимствованная музыка обогащается живым дыханием одаренности.

Не случайно каждый, кто соприкоснулся с автором, ощущает незавершенность его творений, будь то стихи, проза, рисунки, — все это дополняет друг друга и все равно оставляет ощущение незаполненности: еще что-то должно быть досказано, дорисовано, допето. Он сам, его присутствие, создает органический игровой завершающий элемент. Он актер одной книги. И эта книга, продекламированная и обрисованная, прожестикулированная и воспетая автором, бытово ориентирована на Сады Лицея, а не Привоз. На полях книги и перечеркивая сам текст, часто повторяется авторский комментарий — шаржированный иудео-негритянский профиль Поэта. Этот абрис — смелое объявление своего права на Поэта еврейским мальчиком с Молдаванки.

Герой (герои) — Одесса, еврейский мальчик, Пушкин, диалоги, вырванные из контекста «нормальной» логики, вся непарадность жизни и языка — набросаны нервной прерывающейся рукой (душевный отклик на желание/потребность свободно льющегося общения, того мандельштамовского — возможно, не совсем точно воспроизведенного мною — «на лестнице случайной разговора б»).

Гриша Резников, Нью-Йорк, 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Валерий Черешня. «Итак, я жил тогда...» 5
От автора 8
Провинциальный роман (с)
Часть I 10
Часть II 43
Часть III 102
Лето и ливни. *Вторая проза* 155
Гриша Резников. Этюд к послесловию 238

Ефим Ярошевский

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН(С)

Главный редактор издательства *И.А.Савкин*
Дизайн обложки *С.Н.Пионтковский*
Оригинал-макет *Б.Н.Марковский*
Редактор *Е.И.Иванцова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, СПб., ул. Бабушкина, д. 53
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru
www. aletheia.spb.ru

Подписано в печать 27.04.2006. Формат 60x88 1/16.
Усл.-печ. л. 15,7. Печать офсетная. Заказ 694.
Тираж 500 экз.

«Нервная чуткая проза, как круп коня, терзаемого оводами. Истоки ее можно искать в избыточной живописности южнорусской школы первой половины века — от Бабеля до Олеши, но восходит она непосредственно к их общему прародителю — Гоголю».

Валерий Черешня

ISBN 5-89329-862-8